

The background of the entire image is a dense, artistic collage of antique pocket watches and Nobel Prize medals. Several watch faces are visible, showing Roman numerals and intricate designs. Two Nobel medals are prominently displayed at the top left, one featuring a profile of Alfred Nobel. The lighting is dramatic, with highlights on the metallic surfaces and deep shadows in the recesses, creating a sense of history and prestige.

Лауреат
Нобелевской премии
по литературе

Орхан Памук

Дом
ТИШИНЫ

PREMIUM

Орхан Памук

Дом тишины

Серия «Азбука Premium»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7385040

*Дом тишины : роман / Орхан Памук: Амфора ; Санкт-Петербург; 2015
ISBN 978-5-389-10156-2*

Аннотация

Действие почти всех романов Орхана Памука происходит в Стамбуле, городе загадочном и прекрасном, пережившем высочайший расцвет и печальные сумерки упадка. Подобная двойственность часто находит свое отражение в характерах и судьбах героев, неспособных избавиться от прошлого, которое продолжает оказывать решающее влияние на их мысли и поступки. Таковы герои второго романа Памука «Дом тишины», одного из самых трогательных и печальных произведений автора, по мастерству и эмоциональной силе напоминающего «Сто лет одиночества» Маркеса и «Детей Полночи» Рушди. Перед читателем неспешно разворачивается история одной стамбульской семьи, рассказанная от лица различных ее представителей, каждый из которых заключен в свой собственный дом тишины, наполненный невысказанными мечтами и тревожными размышлениями о прошлом.

Содержание

1	5
2	23
3	41
4	55
5	67
6	81
7	93
8	112
9	121
10	131
Конец ознакомительного фрагмента.	134

Орхан Памук

Дом тишины

Orhan Pamuk

SESSİZ EV

Copyright © 1996, İletişim Yayınları A. Ş.

All rights reserved

© А. Аврутина, перевод, 2007

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство АЗБУКА®

* * *

1

– Кушать подано, Госпожа, – сказал я. – Пожалуйста к столу.

Она ничего не ответила. Застыла на месте, опираясь о трость. Я подошел, взял ее под руку, подвел к столу и усадил. Она что-то пробормотала. Я спустился на кухню, принес поднос и поставил перед ней. Она взглянула, но к еде не притронулась. Проворчав что-то, она вытянула шею. Тут я вспомнил о салфетке, достал ее и повязал ей.

– Ну, и что ты приготовил сегодня на ужин? – спросила она. – Интересно, что ты на сей раз выдумал?

– Фаршированные баклажаны, – ответил я. – Вы же просили вчера.

– С обеда остались?

Я пододвинул ей тарелку. Она взяла вилку и, ворча, поковыряла баклажаны. Некоторое время рассматривала их, а потом стала есть.

– Госпожа, ешьте салат, – сказал я и вышел.

Тоже взял себе баклажан, сел и начал есть.

Вскоре раздалось:

– Соль! Реджеп, где соль?

Я встал, пошел к ней, поглядел на стол – солонка рядом с ней.

– Вот же ваша соль!

– Только что ее тут не было, – сказала она. – Почему ты выходишь, когда я ем?

Я не ответил.

– Они разве завтра не приедут?

– Приедут, Госпожа, приедут! – сказал я. – Не рассыпьте соль!

– Отстань! Они приедут?

– Завтра днем, – сказал я. – Они же звонили...

– Что у тебя еще есть?

Я унес остатки баклажана, красиво разложил на чистой тарелке фасоль и принес обратно. Она снова стала брезгливо ковыряться в тарелке, и тогда я опять вышел – я тоже обедаю. Через некоторое время она позвала меня – на этот раз нужен был перец, но я сделал вид, что не слышу. Потом она крикнула, чтобы я принес фрукты; я пошел и пододвинул к ней миску с фруктами. Ее костлявая, тонкая рука медленно бродила по персикам, словно усталый паук, потом наконец остановилась.

– Они все порченые! Где ты их нашел, на земле собирал?

– Они не порченые, Госпожа! – ответил я. – А спелые. Это самые лучшие персики. Купил в овощном. Вы же знаете – здесь не осталось персиковых деревьев...

Она, сделав вид, что не услышала меня, выбрала персик. Я вышел из комнаты и уже доедал фасоль, как вдруг раздались:

– Развяжи! Реджеп, где ты, развяжи мне салфетку!

Я вскочил, побежал к ней и, потянувшись вверх, чтобы развязать ей салфетку, увидел, что она съела половину персиков.

– Дам-ка я вам лучше абрикосов, Госпожа, – сказал я. – А то потом скажете, что проголодались, и опять разбудите меня ночью.

– Спасибо, – сказала она. – Я, слава богу, еще не дошла до того, чтобы есть эту падалицу. Развязывай салфетку!

Я снял с нее салфетку, а когда стал вытирать ей рот, она сморщилась и закатила глаза, будто молилась. Потом встала:

– Отведи меня наверх!

Она оперлась на меня, и мы прошли несколько ступеней, но на девятой все же остановились передохнуть.

– Ты приготовил им комнаты? – спросила она, переводя дыхание.

– Приготовил.

– Ну хорошо, давай дальше, – сказала она и еще сильнее оперлась на меня.

Мы опять стали подниматься, и, когда добрались до последней ступеньки, она, проговорив: «Слава богу, девятнадцатая!» – вошла в свою комнату.

– Зажгите свет! – сказал я. – Я иду в кино.

– Надо же, в кино он идет! – отозвалась она. – Взрослый человек. Смотри, допоздна не задерживайся.

– Не задержусь.

Я спустился на кухню, доел свою фасоль, помыл посуду, снял передник; галстук на мне, пиджак взял, кошелек с собой. Я вышел на улицу.

С моря дует прохладный ветер, такой приятный; он шелестит листьями смоковниц. Я закрыл калитку и зашагал к пляжу: когда забор нашего двора кончился, начались мостовая и стены новых бетонных домов. На балконах в маленьких тесных садиках сидят люди, включили свои телевизоры, смотрят и слушают новости. На решетках мангалов жарится мясо, поднимается ароматный дым. У мангалов стоят женщины. Никто меня не видит. Семьи, жизни. Так интересно... Когда приходит зима, абсолютно все уезжают, и тогда на пустых улицах я слышу звук собственных шагов, и мне становится жутко... Холодно, я надел пиджак, свернул на боковую улицу.

Как странно думать, что все одновременно сидят за ужином и смотрят телевизор! Я бреду по переулкам. В конце одного из них, заканчивавшегося на маленькой площади, остановилась машина, из нее вышел только что приехавший из Стамбула и усталый на вид отец семейства с сумкой в руках и вошел в дом. Он так беспокоился, словно опаздывал на званый ужин с просмотром вечерних теленовостей. Я опять вернулся на набережную и услышал там голос Измаила:

– Национальная лотерея! До розыгрыша шесть дней!

Меня он не видел. А я не подал голоса. Он бродил меж-

ду столиками — виднелась его голова, то исчезая, то вновь появляясь. Потом его подозвали к столику, он подошел, наклонился и протянул девушке в белом платье с лентой в волосах пачку лотерейных билетов. Девушка с серьезным видом выбирала билет и довольно улыбалась отцу с матерью. Я уже отвернулся и не смотрю на них. Если бы я крикнул и Измаил увидел бы меня, то, прихрамывая, быстро бы подошел ко мне. Он бы спросил: «Почему ты никогда к нам не ходишь, братец?» Я бы ответил: «Ваш дом далеко, Измаил, да к тому же на холме». — «Да, ты прав, — согласился бы он и добавил: — Когда Доан-бей дал нам деньги, надо было мне покупать землю не на холме, а здесь, у моря! Ах, Реджеп, кабы взял я землю здесь, вместо того чтобы купить там, на холме, потому что ближе к вокзалу, то сегодня был бы миллионером». Да-да, именно так он и сказал бы. А его красивая жена всегда молчит и смотрит. Чего мне к ним ходить? Иногда зимой, по вечерам, когда мне не с кем поговорить, мне хочется к ним, я иду туда, но все время слышу одни и те же разговоры.

Маленькие бары на берегу совершенно пусты. Работают телевизоры. Разносчики чая расставили рядами сотни пустых чайных стаканчиков, и все они, чистые-пречистые, сияют в свете больших ярких лампочек. Разносчики ждут, когда закончатся новости, и тогда толпа заполнит улицы. Под пустыми столами кошки. Иду дальше.

К пирсу с противоположной стороны привязаны шлюп-

ки. На маленьком грязном песчаном пляже никого нет. За-сохшие водоросли, выброшенные на берег, бутылки, куски полиэтилена... Говорят, что дом лодочника Ибрагима скоро снесут, и кофейню тоже. Я внезапно разволновался, увидев освещенные окна кофейни. Может быть, найдется кто-нибудь, кто не играет в карты, мы поговорим, он спросит меня, как дела, я расскажу, он выслушает, потом я его спрошу, он будет рассказывать, а я – слушать. Во время разговора мы оба будем кричать из-за громкого звука телевизора и шума голосов. Это дружба. Может, мы даже в кино вместе пойдем.

Но когда я вошел в кофейню, у меня сразу испортилось настроение, потому что те двое парней снова были там. Ну вот: завидев меня, они оживились, переглянувшись, усмехнулись. Я вас в упор не вижу, смотрю на свои часы, ищу себе собеседника. А, вон слева сидит Невзат, наблюдает за игрой картежников. Я подошел к нему, забрался на стул и уселся. С довольным видом повернулся, улыбнулся ему и сказал:

– Здравствуй. Как дела?

Он ничего не ответил.

Я немного посмотрел телевизор – заканчивались новости. Затем я посмотрел на карты, переходившие от одного игрока к другому, и на Невзата, наблюдавшего за ними, подождал, пока партию доиграют; она закончилась, и все весело заговорили друг с другом. Но не со мной. Затем началась сле-

дующая партия, и все опять ушли в нее с головой, а потом игра снова закончилась. Когда карты стали раздавать в очередной раз, я заговорил, потому что решил сказать наконец что-нибудь:

– Невзат, ты утром продал очень хорошее молоко.

Он кивнул, не отрывая глаз от карт.

– А знаешь, жирное молоко полезно.

Он опять кивнул. Я посмотрел на часы: без пяти девять. Затем – на экран телевизора. Должно быть, я задумался, потому что заметил хихиканье парней не сразу. У них в руках была газета, и я подумал: «О господи, неужели там опять карикатура? Ведь они смотрели то на меня, то в газету и мерзко пересмеивались. Реджеп, не обращай внимания!» Но потом я все-таки решил: «Наверное, там карикатура. Газеты иногда их печатают – они безжалостны. А под ней еще напечатают фотографии голых женщин и медведей из зоопарка, у которых родились медвежата, и несправедливую, дурацкую статью». Почему-то я повернулся к Невзату и машинально спросил:

– Как дела?

Он на секунду повернулся ко мне, пробормотав что-то, но, так как в голове у меня был только рисунок, я не нашелся что ответить, и возможность начать разговор была упущена. Вдобавок от нечего делать я опять посмотрел в сторону тех двух парней. Мы встретились взглядами, и тогда они деланно улыбнулись. Я отвернулся. В игре выпал король. Игроки

ругнулись, обрадовались, потом расстроились. Потом началась новая игра, другие карты, другое веселье. Карикатура там, что ли? Внезапно мне пришло в голову попросить:

– Джемиль! Сюда один чай!

Так я нашел то, что позволит мне хотя бы ненадолго забыть о рисунке и отвлечься. Но этого хватило ненамного, я опять задумался о газете, куда со смехом смотрели парни. Когда я еще раз обернулся, они показали газету Джемилю, и он смотрел туда, на что они указывали. А затем Джемиль заметил, что я с беспокойством смотрю на них, ему стало неудобно, и он внезапно закричал на парней:

– Ах вы, бессовестные!

Итак, стрела выпущена из лука. Теперь я не могу сделать вид, что ничего не происходит. Мне следовало давно встать и уйти отсюда. Парни хохочут.

– Что случилось, Джемиль? – спросил я. – Что там, в газете?

– Ничего! – ответил он. – Всякая ерунда!

Любопытно невыносимо. Я попытался взять себя в руки, но у меня нет сил. Как зачарованный, я слез со стула и медленно пошел к Джемилю мимо примолкших парней.

– Дай-ка мне эту газету!

Он попытался ее спрятать. А потом с виноватым видом произнес:

– Как странно! Разве такое может быть? Зачем это?

А затем, повернувшись к парням, добавил:

– Бессовестные! – И наконец, слава богу, протянул мне газету.

Я выхватил газету у него из рук, как голодный – хлеб, раскрыл ее. Сердце бешено колотится. Задыхаясь, я смотрю туда, куда он показывает, но нет, никакой карикатуры нет.

– Где?

– Вот! – ответил Джемиль с любопытством и ткнул пальцем в страницу.

Я быстро прочитал: «Историческая рубрика»... «Старинные сокровищницы Юскюдара¹»... «Поэт Яхья Кемаль и Юскюдар»... Ниже маленькие заголовки: «Мечеть Рум Мехмет-Паша»... «Мечеть Ахмедие и общественный источник рядом с ней»... «Мечеть Шемси-Паша, при ней библиотека»... Затем палец Джемиля неловко опустился ниже, и я увидел: «Дом карликов в Юскюдаре!»

Кровь ударила мне в лицо. На одном дыхании я прочел: «...Помимо вышеперечисленного, в Юскюдаре некогда находился и дом карликов. Этот дом, созданный не для обычных людей, а для лилипутов, ничем не отличался от обычных домов. Только размеры комнат, дверей, окон и лестницы были для карликов, а обычному человеку нужно было согнуться, чтобы войти. Согласно исследованиям искусствоведа, нашего учителя, профессора, доктора наук Сюхейля Энвера, этот дом приказала построить супруга Сул-

¹ *Юскюдар* – район в азиатской части Стамбула.

тана Мехмеда III, мать Султана Ахмеда I², Хандан Султан, очень любившая своих карликов. Чрезмерная любовь этой женщины к своим карликам играет важную роль в истории султанского гарема. Хандан Султан пожелала, чтобы ее дорогие друзья, которых она так любила, после ее смерти жили вместе, в покое и без забот, и выполнить ее волю поручили главному придворному плотнику, мастеру Рамазану. Говорили, что его работа и резьба по дереву были столь совершенны, что дом прослыл маленьким шедевром. Но поскольку в записках Эвлии Челеби³, посетившего в те же годы Юскюдар, об этом доме ничего не говорилось, мы вынуждены заметить, что достоверно неизвестно, существовал ли такой необычный, интересный дом на самом деле или нет. Даже если такой странный дом действительно существовал, то во время известного пожара 1642 года, когда выгорела большая часть Юскюдара, он, должно быть, был утрачен».

Я был потрясен тем, что прочел. У меня дрожали ноги, спина взмокла от пота.

– Не придавай значения, Реджеп! – сказал Джемиль. – Чего ты обращаешь внимание на этих негодяев?

Мне жутко хочется прочитать газету еще раз, но у меня нет сил. Я словно задыхаюсь. Газета выскользнула у меня

² *Султан Мехмед III* (годы правления 1595–1603) – отец *Ахмеда I* (годы правления 1603–1617).

³ *Эвлия Челеби* (1611–1682/1683) – османский путешественник, географ, писатель.

из рук и упала на пол.

– Сядь ты, – сказал Джемиль. – Успокойся. Ты обиделся, расстроился. – Повернувшись к парням, он еще раз повторил: – Бессовестные!

Я, с трудом держась на ногах, тоже посмотрел на них и увидел, что они смотрят на меня с ехидным любопытством.

– Да, – промолвил я, – я расстроился. – Немного помолчал и послушал, что он мне говорит, а потом собрал все силы и сказал: – Но я расстроился не оттого, что я карлик. Я расстроился потому, что люди такие плохие, что могут смеяться над пятидесятипятилетним карликом.

Наступила тишина. Кажется, мои слова все услышали, даже те, кто играл в карты. Мы встретились взглядом с Невзатом. Интересно, он понял? Парни смотрят перед собой; наверное, им стало немного стыдно. У меня кружится голова, телевизор шумит.

– Бессовестные! – повторил Джемиль в пустоту. – Стой, Реджеп, куда ты? – позвал он.

Я не ответил. Качаясь, сделал несколько маленьких шагов – веселые огни кофейни остались у меня за спиной. Я опять на улице, в прохладной темной ночи.

Я не в состоянии идти, но, сделав над собой усилие, прошел еще несколько шагов, а затем сел на одну из тумб у края пирса. Я глубоко вдыхал чистый воздух, сердце все еще колотилось. Что делать? Вдалеке сияют огни баров и ресторанов; по деревьям развешены разноцветные фонарики,

и под этими фонариками сидят люди, едят и беседуют друг с другом. Боже мой!..

Дверь кофейни открылась, и я услышал, как Джемиль зовет меня:

– Реджеп, Реджеп! Где ты?

Я не подал голоса. Он не увидел меня и пошел обратно.

Много времени спустя я услышал шум поезда на Анкару и поднялся. Должно быть, сейчас десять минут десятого. Я рассуждал так: разве все это – не просто слова? Разве все это – не облако звуков, что исчезнет, едва только образуется в пустоте? Я немного успокоился, но домой возвращаться не хочется, а больше делать нечего: пойду в кино. Я остыл, сердце забилося ровно, сейчас мне гораздо лучше. Я глубоко вздохнул и пошел.

Вот и кофейня осталась позади; там, конечно же, все давно забыли обо мне и о моих словах. Телевизор, естественно, шумит, а парни ищут, над кем бы еще посмеяться, если Джемиль их не прогнал. Я опять иду по улице, здесь много народу, все поужинали и теперь гуляют, чтобы растряссти съеденное, пока не уселись перед телевизором или в баре. Они едят мороженое, разговаривают, здороваются друг с другом – женщины, их мужья, по вечерам возвращающиеся из Стамбула, и их что-то жующие дети; они узнают друг друга и снова здороваются. Я прошел мимо ресторанов, Измаила не видно. Может, билеты у него кончились и он сейчас поднимается к своему дому. Если бы вместо кино я пошел

к нему, мы бы поболтали. Но, как всегда, об одном и том же.

На улице уже было очень много народу. Машины перед кафе и люди, по двое, по трое шагавшие по главной улице, мешали движению. Я в пиджаке и при галстукe, но находиться в такой толпе выше моих сил: я свернул в переулки. На тесных улочках, освещенных синим светом телевизоров, дети играют в прятки среди припаркованных машин. В детстве я думал, что мог бы хорошо играть в эту игру, но тогда я не мог найти в себе смелости присоединиться к ним, как Исмаил. Но если бы мог играть, то спрятался бы лучше всех. Если здесь – то, например, среди развалин старинного постоянного двора, где, как говорила мама, когда-то была чума, а если в деревне – то в конюшне. И если бы я сам никогда не вышел, то посмотрели бы мы, над кем бы все смеялись. Мама-то меня искала бы, говорила: «Исмаил, где твой старший братик?» – а Исмаил шмыгал бы носом и отвечал бы: «Откуда я знаю», а в это время я слушал бы их и потом сказал бы: «Мама, я буду жить тайно, в одиночестве, никому не показываясь», – но мама вдруг начала бы так плакать, что я сказал бы: «Ладно-ладно, мама, я выхожу, смотри, вот я, здесь, я больше не прячусь, мама», и мама спросила бы: «Почему ты прячешься, сынок?» – и я бы подумал, что, наверное, она права, – зачем прятаться, скрываться? И тут же забыл бы обо всем.

Я увидел их, когда быстро шагал по главной улице. Сыткы-бей возмужал, женился, рядом с ним его жена, у них да-

же есть ребенок – с меня ростом. Он узнал меня, улыбнулся, остановился.

– Здравствуй, Реджеп-эфенди, – сказал он. – Как у тебя дела?

Я всегда жду, пока со мной заговорят первыми.

– Здравствуйте, Сыткы-бей, – ответил я. – Спасибо, хорошо.

Мы с ним пожали друг другу руки, а с его женой – нет. Ребенок смотрел на меня испуганно, с любопытством.

– Милая, Реджеп-эфенди – один из самых старых жителей Дженнет-хисара⁴.

Его жена, улыбаясь, кивнула. Я обрадовался – горжусь, что я старейший житель этого городка.

– Бабушка в порядке?

– Ох, – ответил я, – Госпожа жалуется на все!

– Столько лет прошло! – сказал он. – А где Фарук?

– Они завтра приедут, – сказал я.

Он повернулся к жене и начал рассказывать, что Фарук-бей – его друг детства. А потом мы, не пожав друг другу рук, а лишь на прощанье кивнув, расстались. Сейчас он, конечно же, рассказывает жене о своем детстве и обо мне: как я, когда они были маленькими, отвел их к колодцу и стал учить их ловить кефаль, и тогда ребенок спросит: «Папа, а почему этот человек такой маленький?» Я с давних пор отвечал на это: «Потому что его мама родила его незамужней».

⁴ *Дженнет-хисар* – маленький городок под Стамбулом.

Сыткы женился. Фарук-бей тоже женился, но детей у них не было, а так как у моей мамы, наоборот, дети были, Госпожа отослала нас с мамой в деревню. Перед тем как отослать нас, она ругала и била нас с мамой своей тростью, а мама умоляла: «Перестаньте, Госпожа, дети-то в чем виноваты?» Мне иногда кажется, что я слышал эти слова в тот ужасный день...

Я пришел на ту улицу, где был кинотеатр, послушал музыку – перед фильмом всегда играют. Здесь всегда хорошее освещение. Я посмотрел на афиши: «Встретимся в раю». Старый фильм: Хюлья Коч-Йигит и Эдиз Хун⁵ на первой фотографии обнимают друг друга, потом фотографии, где Эдиз в тюрьме, а Хюлья поет песню, но, не посмотрев фильм, невозможно понять, в какой последовательности все это происходит. Людям любопытно, и, наверное, об этом известно – потому и фотографии на улице вешают. Я пошел в кассу – пожалуйста, один билет, – кассир отрезал и протянул мне его – спасибо, – а еще я спросил: «Фильм хороший?»

Не видел, говорит. Бывает, мне ни с того ни с сего хочется с кем-нибудь поговорить. Я пошел, сел на свое место, стал ждать. Вскоре начался фильм.

Сначала они познакомились, девушка – певица, он ей не нравится, но однажды парень спасает ее от плохих и начинает ей нравиться, и она понимает, что любит его, но ее отец против этой свадьбы. Потом парень попадает в тюрьму.

⁵ Хюлья Коч-Йигит и Эдиз Хун – известные турецкие киноактеры.

Начался небольшой перерыв, но я остался сидеть и не пошел на улицу вместе со всеми. Потом фильм продолжился: девушка вышла замуж за владельца казино, но у них не было детей, и они ничего не предпринимали. Когда ее муж стал ходить к одной дурной женщине, а Эдиз сбежал из тюрьмы, они встретились в доме у моста через Босфор, и Хюлья Коч-Йигит спела песню. Когда я слушал эту песню, мне стало немного грустно. Потом, когда он решил избавить ее от плохого мужа, тот уже сам заслужил себе кару, и стало ясно, что теперь они могут пожениться. Ее отец с радостью смотрит им вслед, и они идут по дороге рука об руку, идут и идут, и постепенно становятся все меньше, и появляется слово КОНЕЦ.

Зажегся свет, мы вышли на улицу, все шепотом говорят о фильме. Я бы тоже хотел поговорить с кем-нибудь. Десять минут двенадцатого, Госпожа, конечно же, ждет, но домой мне не хочется.

Я пошел к дороге, спускавшейся к пляжу. Может быть, дежурит аптекарь Кемаль-бей, может, он не спит. Я его побеспокою, мы поговорим, расскажу ему обо всем, он задумчиво выслушает меня, глядя на парней в свете витрины закуской напротив, споривших, у кого машина лучше. Увидев, что в аптеке горит свет, я обрадовался: он не спит. Я открыл дверь, зазвонил колокольчик. О господи, это не Кемаль-бей, а его жена.

– Здравствуйте, – сказал я, помедлив. – Мне нужен аспи-

рин.

– Упаковка или штучно? – спросила она.

– Две штуки. Голова болит. Мне немного не по себе... Кемаль-бей... – говорю я, но она не слушает: берет ножницы, отрезает аспирин, дает таблетки мне. Я протягиваю ей деньги и спрашиваю: – Кемаль-бей утром был на рыбалке?

– Кемаль спит наверху.

Я взглянул на потолок. Он спит там, в полуметре от потолка. Проснись он, я бы все ему рассказал; может быть, он сказал бы что-нибудь о бессовестных парнях, а может, ничего бы не сказал, просто посмотрел бы задумчиво на улицу, а я бы говорил, мы бы разговаривали. Я взял сдачу, которую положила мне своей маленькой белой ручкой его жена. Затем сразу углубилась в журнал, лежавший на прилавке, – наверное, комикс. Красивая женщина! Я пожелал спокойной ночи, вышел, не мешая ей читать, – прозвенел колокольчик. Улицы опустели, дети, игравшие в прятки, разошлись по домам. Что делать, придется вернуться домой.

Притворив калитку, я увидел через ставни свет в комнате Госпожи: она не спит, пока я не лягу. Я вошел через кухонную дверь, запер ее на замок, побродил немного по кухне, и, когда стал медленно подниматься по лестнице, мне вдруг пришло в голову: интересно, а в том доме в Юскюдаре были лестницы? В какой же это было газете? Завтра пойду в бакалею и куплю этот номер, спрошу бакалейщика: «У тебя

есть „Терджуман“?⁶ Наш Фарук-бей попросил, он историк, ему стало интересно, что там в исторической рубрике...» Я поднялся наверх, вошел к ней в комнату. Она лежала в постели.

– Я пришел, Госпожа, – сказал я.

– Молодец, – ответил она. – В конце концов ты зашел и домой.

– Что делать, фильм поздно кончился.

– Ты хорошо запер двери?

– Хорошо, – ответил я. – Вам что-нибудь нужно? Я ложусь. А то потом меня разбудите.

– Они приезжают завтра, да?

– Да. Я постелил им постели и приготовил комнаты.

– Хорошо, – проговорила она. – Закрой мне дверь хорошенько.

Я вышел и закрыл дверь. Сразу лягу и усну. Я стал спускаться по лестнице.

⁶ «Терджуман» («Переводчик») – крупная еженедельная турецкая газета.

2

Я слышу, как он спускается по лестнице – ступенька за ступенькой. Что он делает на улице до поздней ночи? Не думай об этом, Фатьма, иначе в голову полезут всякие гадости. Но все-таки любопытно. Интересно, хорошо ли запер двери коварный карлик? Ему же все равно! Сразу ляжет в кровать и проспит всю ночь, похрапывая, как истинный сын своей служанки-матери. Спи, карлик, спи беззаботным, беспечным сном слуги, спи, а ночь пусть достанется мне. Я не могу уснуть. Я думаю, что засну и забуду, но лишь жду сон и, пока жду, понимаю, что жду напрасно. Но жду.

Селяхаттин сказал бы, эта твоя бессонница – химическая проблема, сон – такое же явление, как и все остальные, и его можно познать, Фатьма, формулу сна однажды непременно откроют, как когда-то открыли формулу воды – H_2O . Естественно, откроют ее не наши увальни, а опять, как это ни печально, европейцы, и тогда никто не будет понапрасну ждать до утра, надев смешную пижаму и забравшись между этими бесполезными простынями и твоими смешными глупыми одеялами в цветочек, чтобы прошла усталость. Тогда нам будет достаточно накапать в стакан воды три капли из маленькой бутылочки и выпить, чтобы стать совершенно свежими и полными жизни, словно мы только что проснулись. Ты можешь представить, Фатьма, что мы сможем сделать то-

гда за то время без сна, что достанется нам, ты можешь представить себе эти часы без сна?

Мне не нужно думать об этом, Селяхаттин, я знаю: я буду смотреть в потолок, буду смотреть на него и ждать, пока какая-нибудь мысль не захватит и не унесет меня отсюда, но сон так и не придет. Если бы я могла пить вино и раки, я бы, может быть, спала, как ты, но мне не нужен такой ужасный сон. Ты выпивал по две бутылки: я, Фатьма, пью не ради удовольствия, а чтобы прояснилось в голове и прошла усталость от работы над энциклопедией. А потом ты спал с открытым ртом и храпел, а я убегала, потому что мне был противен запах раки, которым несло у тебя изо рта, напоминавшего мне темный колодец, где лягушки совокупаются с пауками. Холодная, несчастная женщина, ты же бездушная, как камень! Выпила бы ты хоть рюмочку, может, поняла бы! Ну, Фатьма, давай выпей, пожалуйста, пей – я приказываю, ты что, не знаешь, что нужно слушаться своего мужа?! Вот, знаешь! Тебя так учили. Так что пей, я тебе приказываю. Пей, а грех я беру на себя, давай, Фатьма, пей, пусть твой разум станет свободным; ну-ка пей – твой муж тебя просит, давай, не бойся; о господи, эта женщина заставляет меня ее упрашивать, мне надоело это одиночество, да что тут такого, Фатьма, выпей рюмочку, или ты не слушаешься своего мужа?

Нет, не поддамся я лживой змее! Никогда я не пила. Только раз. Из любопытства. Когда никого не было. Помню соль

на кончике языка, лимон и этот ядовитый вкус. Потом я испугалась и пожалела, что попробовала; сразу же прополоскала рот, все вылила и несколько раз вымыла стакан и с любопытством стала ждать, что у меня закружится голова, села, чтобы не упасть; было страшно – господи, неужто я стану пьяницей, как он, но ничего не случилось. Я поняла это и успокоилась – шайтан до меня не доберется.

Я смотрю на потолок. Мне больше не уснуть, лучше встать. Пошла, ловко открыла ставни, ведь комары меня не беспокоят. Я легонько оттолкнула створки окна. Ветер успокоился. Тихая ночь. Смоковница замерла. У Реджепа свет не горит: он, естественно, сразу уснул, карлику ведь не о чем беспокоиться, сразу засыпает. Все его заботы – еда, да горстка моего белья, да покупки на базаре, а покупает он в результате гнилые персики, да и то после того, как часами прослужится по улицам.

Моря мне не видно, но я представляю себе, как оно простирается во все стороны – так далеко, что даже не видно. Мир такой огромный! Как приятно пахнет на шумных катерах и лодках, в которых всегда плавают голышом! Мне так нравится этот запах! А еще я слышу сверчка. За неделю прополз дорогу длиной в шаг. А я даже столько не прошла. Когда-то я думала, что мир прекрасен; я была ребенком, я была глупой. Я закрыла ставни, повернула задвижку – пусть мир останется там.

Медленно села на стул, посмотрела на стол. Вещи сре-

ди безмолвия. Наполовину полный кувшин, а в нем замерла вода. Когда мне захочется пить, я открою стеклянную крышку, дотронусь до него, подниму, стану лить воду в стакан и буду смотреть и слушать, как она льется. Стекло будет позвякивать, вода медленно польется с тихим плеском – и от нее повеет прохладой. Это нечто новенькое; это меня развлечет, я отвлекусь, но пить не буду. Пока не буду. Нужно экономно расходовать то, что позволяет делить время. Я смотрю на свою щетку для волос и вижу застрявшие в ней волосинки. Беру и вычищаю ее. Мои слабые, тонкие девятистолетние волосы постепенно исчезают. Исчезает то, что называют временем; время-время, пробормотала я. Я перестала чистить щетку и положила ее спинкой вниз: она лежала, как насекомое, перевернувшееся вверх лапками, и я испугалась. Если я все так и оставлю и тысячу лет к ним никто не прикоснется, то все тысячу лет так и простоит. Ключ, кувшин, предметы на столе. Как странно – все останется, все застынет! Тогда и мысль моя застынет, как кристалл льда, замрет, без цвета и без запаха; вот бы застыла!

Но завтра они приедут, а я опять буду думать. Здравствуй, здравствуй, Бабулечка, как твои дела, как ты, поцелуют мне руку, долгих лет тебе. Бабушка, как вы, как вы, Бабушка? Я буду рассматривать их. Не говорите все сразу, хорошо, ну-ка, ты, иди сюда, подойди ко мне. Расскажи, чем ты занимаешься? Я знаю, что спрошу, чтобы быть обманутой, и выслушаю несколько пустых слов, чтобы услышать ложь!

Это и всё?! Вы не поговорите со своей Бабушкой? Они переглянутся, о чем-то поговорят между собой, похихикают, а я все услышу и все пойму. В конце концов они станут кричать. Не кричи, не кричи, уши мои еще слышат, хвала Аллаху! Простите, Бабушка, другая наша бабушка тоже плохо слышит! Я – не она! Я мать вашего отца, а не матери. Извините, извините! Хорошо-хорошо, давайте рассказывайте! Расскажите что-нибудь! Что именно? Ну, хотя бы об этой вашей второй бабушке, о ней расскажите, что она делает? Внезапно они растерянно замолчат: действительно, что делает другая наша бабушка? И тогда я пойму, что они не научились видеть и понимать, ну и ладно, но я все-таки буду спрашивать их, хоть и не для того, чтобы им поверить, и, когда я все же решу спросить, увижу: они уже, конечно, давно обо всем и думать забыли. Они заняты не мной, не комнатой, не тем, что я спрашиваю, а своими собственными мыслями, а я опять одна...

Я потянулась и взяла с тарелки абрикос, ела и ждала. Нет, не помогло. Я снова здесь, среди вещей, и ни о чем не думаю. Смотрю на стол. Без пяти двенадцать. Рядом с часами бутылка одеколона, газета, а около нее – носовой платок. Так они и лежат. Я буду смотреть на них, взгляд мой будет бродить по ним, буду рассматривать их – в надежде, что они мне что-нибудь скажут, но они так о многом напоминали мне, что теперь им уже нечего сказать. Это просто бутылка одеколона, газета, платок, ключ и часы. Часы тикают, и никто, даже Се-

ляхаттин, не знает, что такое время. Тут появилась другая мысль, а за ней еще одна, маленькая и беспокойная, – смотри не думай слишком долго ни об одной из этих минут, прыгай, выходи отсюда, давай выйдем вместе, из времени и из комнаты. Я съела еще один абрикос, но выйти не смогла. В таком случае я обычно еще дольше смотрю на предметы, мне хочется, чтобы привычная мысль напугала и отвлекла меня: если бы меня не было и никого не было, то вещи стояли бы на своих местах бесконечно долго, и тогда никто не смог бы даже подумать, что он не знает, что такое жизнь, никто!

Нет, отвлечься мне не удалось. Я встала со стула, пошла в туалет, помылась и, не задев паука, висевшего в углу, вернулась в комнату. Я повернула выключатель, и лампа, свисавшая с потолка, погасла, горит только та, что у изголовья моей кровати, и я ложусь в постель. Жарко, но что делать – я не могу спать без одеяла: его можно обнять, под него можно лечь, в нем можно спрятаться. Я опустила голову на подушку, жду и знаю, что сон сразу не придет. Бледный свет лампы падает на потолок, я слушаю сверчка. Какие жаркие ночи летом!

Правда, раньше, кажется, летом бывало жарче. Мы пили лимонад, пили шербет. Но не на улицах, где его продавали мужчины в белых передниках. Мама говорила: дома нальем в чистые стаканы и выпьем, Фатьма. Мы возвращаемся с рынка; в лавках ничего интересного. Вечером мы ждем отца, он придет, будет говорить, мы – слушать; запахнет та-

баком, и он, покашливая, будет рассказывать нам о чем-то. Однажды он сказал: Фатъма, к тебе один доктор сватается. Я молчу! Подумаешь, доктор! Я молчу, и отец ничего не говорит, но на следующий день еще раз повторяет об этом, а мне еще только шестнадцать лет, и мама говорит – слушай, он, кажется, врач, а я подумала: вот странно, интересно, где он меня увидел? Мне стало страшно, и я ни о чем не спросила, но все же задумалась: врач. Пустая черепушка? Потом отец напомнил еще раз и добавил: у него блестящее будущее, Фатъма, я навел справки, он трудолюбивый, может быть, немного скупой, но порядочный и умный человек, подумай хорошенько. Я промолчала. К тому же было очень жарко, мы пили шербет... Не знаю я... В конце концов я сказала «ладно», и тогда отец подозвал меня к себе – дочка, ты покидаешь отцовский дом, вот что заруби себе на носу... – он говорил о том, что мужчинам нельзя задавать много вопросов, любопытство пристало кошкам, – хорошо, папа, вообще-то я знаю об этом, – дочка, я напомню тебе об этом еще раз, и руки так не складывай, и ногти не грызи – ты уже взрослая, – хорошо, папа, я не буду спрашивать – ты не будешь спрашивать – я не спрашивала.

Я не спрашивала. Прошло четыре года, но у нас все еще не было детей, потом я поняла – из-за стамбульского климата; жарким летним вечером пришел Селяхаттин не к себе в смотровую, а прямо ко мне и сказал: теперь, Фатъма, мы не будем жить в Стамбуле! Я не спросила – почему,

Селяхаттин, но он стал рассказывать, размахивая руками, как непоседа-ребенок: теперь, Фатьма, мы не будем жить в Стамбуле, сегодня меня позвал Талат-паша и сказал: доктор Селяхаттин, больше ты жить в Стамбуле не будешь и политикой заниматься тоже не будешь! Вот что сказал мне этот наглец! Я было ответил – нет, а он сказал: ты говоришь, что большой герой, а мы тебя тогда вместе со всеми прямо сейчас, первым же кораблем, отправим в Синопскую тюрьму, тебе же этого не хочется, что поделаешь, ты много против нас выступал, ты ругал партию, но ты ведь разумный человек, подумай сам – ты женат, ты врач, у тебя хорошая профессия, ты где угодно в мире сможешь запросто заработать себе на жизнь, а как у тебя с иностранными языками, дорогой мой? Накажи тебя Аллах! Фатьма, ты понимаешь, эти партийцы из «Единения и прогресса»⁷ совсем обнаглели, не терпят свободу, так чем тогда они отличаются от Абдул-Хамида?⁸ Так и быть, Талат-эфенди, ваше предложение я принимаю, и если я прямо сейчас собираю свои шмотки, то не думай, что я боюсь Синопской тюрьмы. Нет! Мы едем

⁷ «Единение и прогресс» («Иттихад ве Теракки»), или партия «младотурок», – националистическая партия, созданная в 1889 году в Париже. После прихода к власти в результате Младотурецкой революции в 1908 году оставалась правящей партией вплоть до 1918 года.

⁸ *Абдул-Хамид II* – османский султан, правивший с 1876 по 1909 год. В результате Младотурецкой революции 1908 года некоторое время оставался конституционным монархом, но был окончательно низложен в 1909 году, некоторое время находился в ссылке в Салониках, а затем жил в Стамбуле вплоть до своей кончины в 1918 году.

в Париж, Фатьма, не потому, что я боюсь тюремных стен, а потому, что знаю, что смогу ответить вам, как надо, только из Парижа; Фатьма, продай несколько колец и бриллиантов! Не хочешь, ладно, у меня осталось кое-что от отца; если и этого не хватит, то мы поедем не в Европу, а в Салоники; зачем нам выезжать из страны, поедем в Дамаск; знаешь, доктор Рыза уехал в Александрию и пишет оттуда, что очень много зарабатывает; где мои письма, не могу найти, господи, сколько раз говорить – не прикасайтесь к моему столу; и в Берлин можно, а о Женеве ты когда-нибудь слышала; а эти все тут стали хуже Абдул-Хамида; ну чего ты, давай не стой и не смотри на меня так растерянно, а собери чемоданы и коробки, жена борца за свободу человека должна быть стойкой, разве не так; нечего бояться. Я молчала и даже не сказала – поступай как знаешь, а Селяхаттин все говорил и рассказывал, как партийцы в свое время проучили Абдул-Хамида из Парижа, а теперь он покажет им всем из Парижа и что наступит такой день, когда мы тоже вернемся с победой из Парижа на поезде! А потом он сказал – нет, поедем в Дамаск. Или в Измир. Вечером он уже говорил, что согласен ехать в Трабзон; Фатьма, мы должны продать наше имущество, ты готова пожертвовать всем? Ведь я хочу отдать все свои силы борьбе, ни о чем не говори при слугах, Фатьма, у стен есть уши. Талат-эфенди, тебе совсем не надо выгонять меня: я и сам не намерен оставаться в этом проклятом борделе под названием Стамбул, куда

мы поедem; Фатьма, скажи что-нибудь! Я молчала и думала, что он как ребенок. Да, так обмануть шайтан может только ребенка, я вижу, что вышла замуж за ребенка, которого можно сбить с пути с помощью нескольких книг. Той ночью я вышла из своей комнаты – было жарко, я решила попить чего-нибудь, увидела свет в его комнате, пошла туда, тихонько открыла дверь, заглянула и увидела: Селяхаттин оперся локтями о стол, закрыл руками лицо и плачет – уродливый свет тусклой лампы светит на его заплаканное лицо. На столе перед ним стоит неизменный череп и смотрит на то, как плачет взрослый мужчина. Я осторожно прикрыла дверь, пошла на кухню, выпила стакан воды и подумала – значит, он совсем ребенок, ребенок.

Я медленно встаю с кровати и сажусь за стол, смотрю на графин. Как это воде удастся находиться там, не двигаясь? Кажется, я удивилась, будто кувшин с водой – что-то особенное. Однажды я поймала стаканом пчелу. Всякий раз, когда мне становилось скучно, я вставала с кровати и смотрела на нее: она два дня и две ночи ползала по стакану, пока не поняла, что выхода нет, а потом догадалась, что не остается ничего другого, кроме как затаиться в углу, сидеть не шевелясь и ждать, не зная чего. Тогда она показалась мне мерзкой и отвратительной, я открыла ставни, придвинула стакан к краю стола и подняла его, чтобы она улетела, но глупое создание осталось на месте! Она так и осталась на столе. Я позвала Реджепа и велела ему раздавить отвратительное суще-

ство. Он оторвал кусочек газеты, аккуратно поднял пчелу и выбросил из окна. Пожалел ее. Сам такой же, как эти насекомые.

Я налила в стакан воды, пью медленно, допила. Чем бы заняться? Я встала со стула, легла в кровать, на бок, положила голову на подушку и подумала о том времени, когда Селяхаттин строил здесь этот дом. Он держал меня за руку и водил по будущему дому: здесь будет моя смотровая, здесь – столовая, здесь – кухня как в Европе; я приказал построить для каждого ребенка отдельную комнату, потому что каждый должен иметь возможность развиваться как личность, уединившись в своей комнате; да, Фатьма, я хочу троих детей: видишь, я и решетку на окнах не делаю, как это ужасно – решетка, разве женщина – птица или животное? Все мы свободны, хочешь – можешь бросить меня и уехать; у нас тоже будут ставни, как у них; и перестань, Фатьма, говорить – «у них», «у нас», а выступ этот называется не шахнишин⁹, а балкон – окно на свободу; какой прекрасный вид, правда, Фатьма? Стамбул, наверное, под теми облаками, всего пятьдесят километров, вот хорошо, что мы сошли с поезда в Гебзе¹⁰, время пройдет быстро, да я и не думаю, что с такими тупицами в правительстве они задержатся надолго, может,

⁹ *Шахнишин* – традиционное помещение, встречавшееся, как правило, в домах состоятельных людей в Малой Средней Азии в виде смежного с гостиной алькова либо антресоли.

¹⁰ *Гебзе* – небольшой город под Стамбулом.

«Единение и прогресс» свергнут, пока мы еще не достроим наш дом, и тогда мы, Фатьма, сразу же вернемся в Стамбул...

Потом дом достроили, а у меня родился мой Доан, и опять началась война, но глупое правительство «Единения» все еще было у власти, и Селяхаттин говорил мне: езжай-ка теперь ты, Фатьма, в Стамбул, Талат мне запретил жить в Стамбуле, а не тебе; почему бы тебе не уехать – увидишь свою мать, отца, сходишь к подругам – дочкам Шюкрю-паши, пройдешься по магазинам, купишь себе новой одежды или хотя бы наденешь показать маме то, что шьешь и вяжешь здесь, когда с утра до вечера крутишь педаль швейной машины или когда портишь по ночам свои прекрасные глаза вязанием; Фатьма, почему ты не уедешь, говорил он. Но я отвечала: нет, Селяхаттин, мы поедем вместе, когда их сместят, мы поедем вместе. Но их все никак не смещали. Потом однажды я увидела в газете... Газеты Селяхаттина приходили с опозданием на три дня, но он теперь не набрасывался на них, как прежде. Теперь его не интересовали новости с войны, поступавшие из Палестины, Галиции и с Дарданелл, и иногда я первая читала эти газеты, так как он забывал пролистать их после ужина. Узнав, что партия «Единение и прогресс» свергнута, я положила статью перед ним на тарелку, будто красивый, спелый фрукт. Он отвлекся от своей энциклопедии, чтобы поесть, взглянул на тарелку и тотчас заметил статью – ведь она была написана огромными буквами. Он прочел и ничего не сказал. А я ни о чем не спросила,

но поняла, что после обеда он не написал в своей энциклопедии ни строчки, так как до самого вечера у меня над головой раздавались звуки его шагов. А когда и за ужином Селяхаттин ничего не произнес, я сказала: Селяхаттин, ты видел, их свергли! Хм, да, действительно, ответил он, правительство свергнуто, «Единение и прогресс» сбежали, погубив государство, а войну мы проиграли! Он не мог смотреть мне в глаза, и мы молчали. А вставая из-за стола, он произнес – отводя взгляд, со стыдом, словно говорил о позорном грехе, что хотелось забыть: теперь, Фатьма, мы вернемся в Стамбул, когда я закончу энциклопедию, потому что по сравнению с делом, которое я выполняю, написав эту энциклопедию, мелкие повседневные глупости, называемые этими глупцами политикой, – ничто; то, что я здесь делаю, гораздо важнее и глубже, это невероятно важная миссия, влияние этого труда продолжится многие столетия спустя, и теперь у меня нет права, Фатьма, бросать эту работу незаконченной. А сейчас я немедленно поднимаюсь наверх работать, сказал Селяхаттин и тотчас поднялся к себе, и писал эту проклятую энциклопедию еще тридцать лет, пока не открыл понятие смерти, четыре месяца спустя не умер, мучаясь от ужасной боли, когда у него пошла изо рта кровь; и благодаря тому, что он писал, я уже семьдесят лет здесь, в Дженнет-хисаре, и спаслась, не погрязла в грехе, который ты называл «Стамбул будущего» и «Государство атеистов» – только за это я и благодарна тебе, Селяхаттин, – да, я спаслась, спи теперь спокойно,

Фатьма...

Но мне не спится, и я слушаю шум далекого поезда, его гу-
док, долгий-долгий гул мотора и стук колес. Я давно люблю-
била эти звуки. Я всегда думала о том, что где-то далеко
есть безгрешные страны, земли, дома и сады; я была ребен-
ком, меня было просто обмануть. Вот еще один поезд про-
ехал, теперь ничего не слышно; а куда он – не думай! По-
душка у меня под щекой нагрелась, я повернулась на дру-
гой бок. Положила другую щеку на подушку – подушка про-
хладная. Зимой по ночам было холодно, но никто ни к ко-
му не прижимался. Селяхаттин храпел во сне, а я, не вы-
носившая запаха вина, струившегося из ямы его рта, уходи-
ла в соседнюю комнату и сидела в холоде. А однажды я по-
шла в другую комнату, решила – взгляну-ка на его бумаги,
что он там пишет такое с утра до вечера, что уже написал.
Он писал статью о предке человека – горилле; в эти дни, пи-
сал он, мы становимся свидетелями невероятного подъема
науки, демонстрируемого ныне Западом, на фоне чего во-
прос существования Аллаха можно не принимать во внима-
ние, так как он кажется смешным. Восток все еще спит в глу-
бокой и мерзостной тьме Средневековья, но это не долж-
но ввергать нас, горстку просвещенных людей, в уныние, а,
наоборот, воодушевлять на великий труд, ибо совершенно
ясно, что мы должны не просто перенести оттуда сюда всю
эту науку, а должны заново все это открыть. Чтобы быст-
рее уничтожить эту разницу в несколько столетий между на-

ми, писал он. И сейчас, когда на исходе седьмой год этого огромного труда, я вижу массы людей, одураченных страхом Аллаха. Так он писал. Боже мой, Фатьма, не читай больше, но я читала. Значит, чтобы разбудить эту инертную массу, писал он, я должен выполнить несколько странных дел, которые будущим поколениям покажутся очень смешными. Был бы у меня друг, с которым я мог бы поговорить обо всем этом, но нет, друга у меня нет, а на эту бессердечную женщину я больше не надеюсь, ты совершенно одинок, Селяхаттин, писал он, все писал и писал. А на маленьком листке бумаги было написано, что нужно сделать завтра. Чтобы доказать всем, кто еще не пробудился, что Аллаха не существует, он привел три простых примера, взятых из карты миграционных путей аистов и других птиц в книге Поликовского. Но нет, больше я не могу читать, хватит, Фатьма; я отшвырнула его греховные бумаги и выбежала из холодной как лед комнаты, полной богохульств, чтобы не входить туда до того самого холодного снежного дня, когда он умрет, а на следующее утро Селяхаттин сразу все понял, — значит, ты вчера ночью, пока я спал, входила в мою комнату, Фатьма? Я молчу. Значит, ты вошла в комнату и рылась в моих бумагах, а, Фатьма? Молчу. Ты рылась в них, все перемешала, а некоторые — уронила на пол, да, Фатьма? Ладно, не важно, можешь читать, читай сколько хочешь, читай! А я молчу. Ты читала, правда? Молодец, правильно, Фатьма! А что ты думаешь об этом? Я все молчу. Ты же знаешь, что я всегда хотел этого.

Читай, Фатьма. Читать – самое лучшее, читай и учись, ведь так много предстоит сделать, да? Я молчу. Если будешь читать и прозреешь, то однажды увидишь, Фатьма, как много всего нужно сделать в жизни. Как много всего!

Нет. Сделать нужно мало. Прошло девяносто лет, и я знаю – сделать нужно мало: я смотрю – вокруг, я вижу – предметы, комнаты; еще немного времени; невозможно остановить капли, капающие из крана, который никак не закрыть. Для моего тела, у меня в голове «сейчас» было «недавно», а «недавно» – «сейчас», глаза открываются – закрываются, и ставни открываются – закрываются, день-ночь, вот и новое утро. Но меня не обмануть. Я опять буду ждать. Завтра они приедут. Здравствуй, здравствуй! Будьте здоровы. Бабушка! Поцелуют руку, улыбнутся – как странно чувствовать на руке волосы склонившейся ко мне головы. Как вы, Бабушка, как вы? Что может сказать такая, как я? Я живу, я жду. Мертвецы, могилы. Приходи, сон, приходи.

Я повернулась в кровати. Теперь я и сверчка не слышу. И пчела улетела. Сколько до утра? По утрам на крыше вороны, сороки... я просыпаюсь рано и слышу их. А правда, что сороки воруют? Драгоценности королей, принцесс? Говорят, однажды сорока что-то украла и за ней погнались. Интересно, как это птица смогла улететь с таким грузом. Как они летают? Как летают воздушные шары, цеппелины, и тот парень, Линдберг (Селяхаттин о нем писал), – как он летает? Если Селяхаттин выпивал не одну, а две бутылки,

он забывал, что я не слушаю, и после ужина начинал рассказывать. Сегодня я, Фатьма, написал о самолетах, птицах и полете, на днях закончу статью о воздухе, вот, послушай: воздух – не густой, Фатьма, он состоит из частиц, и вода занимает такое же место в воздухе, какое в воде занимает плывущая лодка, – нет-нет, я не понимаю, как летают воздушные шары и цеппелины. Но Селяхаттин уже разошелся, рассказывает, и всякий раз кричит о своем выводе: вот, вот это все и нужно знать, вот что нам нужно – энциклопедия. Если изучить все естественные и общественные науки, то Аллаха умрет, а мы... но больше я тебя не слушаю! Если он выпивал и третью бутылку, то говорил с яростью: «Да, Аллаха нет, Фатьма, теперь есть наука. Умер твой Аллах, глупая женщина!» Но я все равно не слушаю! А потом, когда у него не осталось ничего, во что можно верить, кроме любви к самому себе и отвращения к самому себе, его охватила гадкая страсть, и он бежал к ней, в маленький домик в нашем саду. Не думай об этом, Фатьма. Служанка... Не думай... Оба – ущербные! Думай о чем-нибудь другом! О прекрасном утре, о старых садах, о повозках, запряженных лошадьми... Приходи, сон, приходи.

Моя рука тянется, как осторожная кошка, и лампа у моего изголовья гаснет. Беззвучная, тихая темнота! Но я знаю, что есть тусклый свет, что светит сквозь ставни. Теперь я не вижу предметов, они избавились от моих взглядов, замолчали и замкнулись в себе и словно говорят, что сумеют сто-

ять неподвижно на своих местах и без меня, но я-то вас знаю: вы там, вещи, вы там, так близко от меня, вы словно чувствуете меня. То и дело какая-нибудь из них затрещит, я узнаю ее голос, он знаком мне, и мне тоже хочется отозваться, и я думаю: как странно то, что называют пространством, где мы находимся! Часы тикают и делят его на части. Четко и решительно. Одна мысль, затем другая. Будто бы наступило утро, будто бы они приехали... здравствуй, здравствуй!.. Я будто бы заснула, проснулась, время словно прошло, а я словно выпалась... Они приехали, Госпожа, приехали!.. Пока я жду, прогудел еще один паровоз. Куда он?.. До свидания!.. – ...куда, Фатьма, куда ты?! – Мы уезжаем, мама, нам запретили жить в Стамбуле... – Ты взяла свои кольца? – Взяла! – А швейную машину? – Ее тоже. – А свои бриллианты, жемчуга? Они всю жизнь тебе будут нужны, Фатьма. Быстрее возвращайся! – Не плачь, мама... Сундуки и вещи грузят в поезд. У меня еще нет ребенка, мы отправляемся в путешествие, в дальний путь, неизвестно, куда мы едем, в какие дальние страны сослали нас с мужем, мы садимся в поезд, вы смотрите на нас, я машу рукой, до свидания, папа, до свидания, мама, смотрите – я уезжаю, Уезжаю в дальние края...

3

– Слушаю вас, – сказал зеленщик. – Чего желаете?

– Молодые националисты устраивают вечер, – сообщил Мустафа. – Мы раздаем приглашения.

Я вытащил из сумки приглашения.

– Я в такие места не хожу, – сказал зеленщик. – У меня нет времени.

– То есть ты не возьмешь в помощь молодым националистам несколько штук? – спросил Мустафа.

– Я же покупал на прошлой неделе, – ответил зеленщик.

– Ты покупал у нас? – поинтересовался Мустафа. – Нас-то на прошлой неделе здесь не было.

– А если ты помогал коммунистам, то это совсем другое дело, – с угрозой сказал Сердар.

– Нет, – сказал зеленщик. – Они сюда не ходят.

– Почему не ходят? – спросил Сердар. – Потому что им не хочется?

– Не знаю, – ответил зеленщик. – Оставьте меня в покое. Я всем этим не интересуюсь.

– Я скажу, почему они сюда не ходят, дяденька, – сказал Сердар. – Они не могут прийти, потому что боятся нас. А если бы нас не было, то коммунисты заставили бы всех вас пла-

тить им, как в Тузле¹¹.

– Упаси бог!

– Вот видишь! Ты ведь знаешь, что они делают в Тузле простым людям? Сначала, говорят, они хорошенечко бьют витрины...

Я повернулся и посмотрел на витрину его магазина – там чистое, широкое и сверкающее стекло.

– Рассказать, что они делают потом, если человек все равно не платит? – спросил Сердар.

Я подумал – убивают. Если коммунисты все время так себя ведут, то в России кладбища наверняка битком набиты. Зеленщик наконец, кажется, понял. Руки в боки, лицо покраснело, смотрит на нас.

– Да, дяденька, – сказал Мустафа. – У нас нет времени. На сколько берешь?

Я вытащил билеты, чтобы ему было видно.

– Он возьмет десять штук, – произнес Сердар.

– Я уже покупал на прошлой неделе, – не соглашался зеленщик.

– Хорошо, ладно! – сказал Сердар. – Не будем терять время, ребята! Значит, на всем рынке только в этой лавке не бояться, что у них разобьют витрину... Ладно, так и запомним. Хасан, запиши-ка ее номер...

Я вышел на улицу, посмотрел на номер на двери и вернулся. Лицо зеленщика покраснело еще сильнее.

¹¹ Тузла – пригород Стамбула.

– Ладно, дядя, не сердись, – сказал Мустафа. – Мы все не собираемся быть невежливыми. Ты нам в дедушки годишься, мы же не коммунисты. – Он повернулся ко мне: – Дай ему пять штук, на сей раз хватит.

Я вытащил пять билетов. Продавец протянул руку и осторожно, словно с отвращением, взял их за краешек. Затем с очень серьезным видом начал читать заголовки на приглашениях.

– Мы тебе и чек можем дать, хочешь? – спросил Сердар. Мне тоже стало смешно.

– Перестаньте! – сказал Мустафа.

– У меня уже есть пять таких билетов, – заметил зеленщик. Волнуясь, он некоторое время рылся в пыльной темноте ящика стола, а потом нашел приглашения и радостно показал их. – Это разве не те же самые?

– Те же, – согласился Мустафа. – Наверное, кто-то другой продал их тебе по ошибке. Но тебе надо было купить у нас.

– Так я же купил, вот!

– Дядя, ты что, умрешь, если еще пять штук купишь, а? – спросил Сердар.

Но старый скряга сделал вид, что не слышит, и пальцем показал на уголок билета.

– Да еще и старые. Вечер-то давно прошел, – сказал он. – Два месяца назад. Гляньте, здесь написано: «Май 1980 года».

– Послушай, ты что, собирался идти на этот вечер? – не выдержал Мустафа.

— А как я могу сегодня пойти на вечер, который был два месяца назад? — не унимался зеленщик.

В конце концов из-за этих пяти билетов и у меня чуть было не лопнуло терпение. Зря нас учили в школе быть терпеливыми. Только время всю жизнь терять, а больше ничего. Если бы на эту тему задали написать сочинение, то я бы привел много примеров и написал бы так, что даже преподаватели турецкого, которые всегда искали случая завалить меня, вынуждены были бы в результате поставить мне «пять». Вот, я прав — Сердар разозлился, как я. Вдруг он подошел к старому скупердю, нахально вытащил у него из-за уха карандаш, написал что-то на билетах и вместе с карандашом отдал обратно.

— Вот так годится, дяденька? — спросил он. — Вечер мы перенесли на два месяца. Давай пятьсот лир!

В конце концов тот отдал эти деньги. Вот как; и только наши глупые учителя турецкого верят, что сладкими речками можно заставить змею выползти из ее логова. Я так разозлился, что собирался тоже поиздеваться над старым скрягой, мне хотелось сделать ему какую-нибудь гадость. Мы уже выходили, вдруг я остановился и с самого низа аккуратно сложенной у двери башни из персиков вытащил один. Но развалились не все персики. Ему повезло. Персик я положил в сумку. А потом мы пошли к парикмахеру.

Парикмахер наклонил кому-то голову в раковину и моет. Он посмотрел на нас в зеркало.

– Я возьму пару штук, ребята, – сказал он, не отпуская голову.

– Хотите – возьмите десять штук, дяденька, – предложил Мустафа. – Продадите кому-нибудь.

– Я же сказал: оставь две штуки, и хватит, – ответил парикмахер. – Вы разве не из союза?

Всего лишь два билета! Вдруг я взорвался:

– Нет, ты купишь не два билета, а десять. – Отсчитав, я протянул билеты ему.

Даже Сердар растерялся. Вот, друзья, видите, каким я бываю, если меня разозлить? Но парикмахер билетов не взял.

– Сколько тебе лет? – спросил он.

Намыленная голова в его руках тоже смотрит на меня в зеркало.

– Так ты берешь? – повторил я.

– Восемнадцать, – ответил Сердар.

– И кто это из союза направил тебя? Ты такой вспыльчивый, – сказал он.

Я не нашелся что сказать и посмотрел на Мустафу.

– Извините, дяденька, – вмешался Мустафа. – Он еще новенький. С вами не знаком.

– Видно, что новенький. Ребятки, оставьте мне пару штук.

Он вытащил из кармана двести лир. Наши сразу же согласились с ним, забыв обо мне, они чуть не руку ему целовали. Значит, если ты знаком с кем-то из союза, то, значит,

ты здесь – бог и царь... Не брал бы вообще ничего. Я протянул ему два билета. Но он даже не повернулся ко мне, чтобы взять.

– Положи сюда!

Я положил. Хотел что-то сказать, но не смог.

– До свидания, ребятки! – сказал он и, указав на меня бутылкой шампуня, поинтересовался: – Он учится или работает?

– В лицее, на второй год оставили, – сказал Мустафа.

– Чем у тебя отец занимается?

Я молчал.

– Лотерейные билеты продает, – ответил Мустафа.

– Осторожнее с этим маленьким шакалом! – сказал парикмахер. – Слишком вспыльчивый. Ну да ладно, идите.

Наши засмеялись. А я уже решил, что теперь и мне пора что-нибудь вставить, ну, например – не мучай своего помощника, хорошо? – так я и собирался ему сказать, но не сказал. Не глядя на помощника, я вышел на улицу. Сердар с Мустафой смеются, разговаривают, но я вас не слушаю, я ничего не соображаю. А потом Мустафа сказал Сердару:

– Не обращай на него внимания, он вспомнил, как был парикмахером.

– Шакал!

Я ничего не сказал. Моя обязанность – нести эту сумку, а когда придем в нужное место – вытаскивать и давать билеты. Мы здесь вместе, так как нас позвали из Дженнет-хи-

сара и поручили эту работу, но с вами – теми, кто издевается надо мной заодно с лавочником и смеется, повторяя это обидное слово, – мне говорить не о чем. Я молчу. Мы вошли в аптеку, я молчал, в городок пришли – молчал, в бакалее и после нее – у кузнеца, продавца кофе и в кофейне – я тоже молчал и не разговаривал, пока мы не обошли весь рынок. Когда мы вышли из последней лавки, Мустафа засунул руки в карманы.

– Теперь мы заслужили по котлете, – сказал он.

Я промолчал, не стал говорить, что деньги эти нам дают не на котлеты.

– Да, – согласился Сердар. – Теперь-то по порции мы заработали.

Однако, когда мы сели в закусочной, они заказали по две порции. Они собирались съесть по две порции, а я не соби-
рался есть ни одной. Пока мясо готовили, Мустафа вытащил из кармана деньги и сосчитал: семнадцать тысяч лир. Затем он сказал Сердару:

– А этот что сидит с кислым лицом?

– Сердится, что мы его шакалом обозвали, – ответил Сердар.

– Во дурак! – сказал Мустафа.

Но я ничего не слышал, потому что разглядывал календарь на стене. Потом принесли котлеты. Мы поели – они разговаривали, я молчал. Они заказали и сладкое. Я взял рева-

ни¹² – было вкусно. Потом Мустафа вытащил пистолет и, направив его под стол, стал в шутку стрелять из него.

– Дай-ка! – сказал Сердар.

Он тоже пострелял понарошку. Мне не дали, а только посмеялись, потом Мустафа засунул пистолет за пояс, оплатил счет, мы встали и ушли.

Никого не боясь, мы прошли через рынок, вошли в деловой центр и молча поднялись по лестнице. Мы пришли в помещение союза, и тогда я, кажется, как всегда, испугался. Будто списываю на контрольной и волнуюсь, как дурак, потому что учитель уже заметил меня, а учитель видит, что я волнуюсь, и понимает, что я списываю...

– Весь рынок обошли? – спросил какой-то красивый мужчина.

– Да, братец, – ответил Мустафа. – Все, что вы сказали.

– У тебя ведь все с собой?

– Да, – сказал Мустафа, вытаскивая пистолет и деньги.

– Я только пистолет заберу, – сказал тот. – Деньги примет Зекерия-бей.

Мустафа отдал пистолет. Красивый мужчина вышел из комнаты. Мустафа вышел следом. Мы ждем. В какой-то момент я подумал – а чего мы ждем? Будто забыл, что мы ждем Зекерия-бея, а мы будто сидим здесь просто так. Потом пришел еще один, такой же как мы, и протянул нам сигареты. Я не курю, но взял. Он вытащил зажигалку в форме

¹² *Ревани* – сладкий пирог из муки и яиц.

паровоза и дал нам прикурить.

– Это вы идеалисты из Дженнет-хисара?

– Да, – ответил я.

– Ну и как там?

«Что ему надо?», – подумал я. У сигареты неприятный вкус. Я будто постарел.

– Наш квартал – наверху, – ответил Сердар.

– Я знаю, – сказал он. – Я спрашиваю про берег. Где коммунисты из Тузлы.

– Нет, – внезапно произнес я. – В Дженнет-хисаре у моря все нормально. Там только господа с деньгами.

Он посмотрел на меня и улыбнулся. Я тоже улыбнулся.

– Ладно, – произнес он затем. – Никогда не знаешь, что будет.

Сердар сказал:

– Кому принадлежит верхний квартал, тому и берег.

– Да. Тузлу они так и захватили. Смотрите, будьте осторожны.

После этого я задумался о коммунистах. Я размышлял о них и курил с серьезным видом, как вдруг человек, который разговаривал с нами, спросил меня:

– Ты новенький, да? – И, не дожидаясь моего ответа, пошел в другую комнату.

Я даже ответить не успел! Сердар утвердительно покачал головой. Интересно, как это они сразу видят, что я – новенький? Почему он улыбнулся, когда я сказал о богатых госпо-

дах? Сердар тоже встал и вышел куда-то в другую комнату, и теперь я остался один; Сердар оставил меня одного словно для того, чтобы все, кто входил и выходил, видели, что я – новенький. А я курю, смотрю в потолок и размышляю о важных вещах, настолько важных, что все, кто входит и выходит, посмотрев на меня, сразу поймут, о чем я думаю, – о проблемах поведения. Есть такая книга, я ее читал. Пока я раздумывал, вышел Мустафа, с кем-то расцеловался, и вдруг все расступились – да, это пришел Зекерия-бей. Он входил к себе в кабинет и тут взглянул на меня – я тоже решил встать, но успел только приподняться. Потом позвали Мустафу. Когда он ушел, я задумался о том, что они там обсуждают, а потом они вышли, и на этот раз я встал.

– Хорошо, – сказал Зекерия-бей нашему Мустафе. – Когда понадобится, мы опять дадим тебе знать. Молодцы!

Затем он взглянул на меня, я заволновался и решил, что он мне что-нибудь скажет, но он ничего не сказал. Только вдруг чихнул и опять ушел вверх – говорят, на заседание. Потом Мустафа пошептался с парнем, который только что разговаривал с нами. Сначала я решил, что они говорят обо мне, но нет, ерунда, конечно, они говорят о политике, о важных вещах... Я отвернулся от них, чтобы они не решились, что я подслушиваю их, и не сочли меня любопытным.

– Ну что, ребята, – сказал после этого Мустафа, – уходим. Я снял с себя сумку. Мы молча дошли до вокзала, как люди, успешно выполнившие свой долг. А я подумал: чего

это Мустафа ничего не рассказывает? Я больше не сержусь на них. Понравилось ли ему, как я работал? Я думал обо всем этом, пока сидел на вокзальной скамейке и ждал поезда, а потом, увидев вокзальный лотерейный киоск, стал думать об отце; правда, об отце мне думать не хотелось, но я все-таки думал о нем и пробормотал сам себе то, что давно хотелось сказать ему: «Папа, диплом лица — в жизни не самое главное!»

Подошел поезд, мы сели. Сердар с Мустафой, естественно, опять шепчутся. Сейчас скажут что-нибудь или пошутят так, что выставят меня дураком. А я буду пытаться выдумать шутку в ответ, но быстро придумать ничего не смогу, и, пока я буду соображать, они, глядя на мое сосредоточенное лицо, будут смеяться еще больше. Тогда я разозлюсь, не выдержу, выругаюсь и вдруг замечу, что они хохочут еще громче, а я выгляжу еще глупее. Потом мне захочется побыть одному — ведь в одиночестве можно совершенно спокойно размышлять о великих делах, которые предстоит совершить в жизни. Иногда я не понимаю их шуток: они перемигиваются — вот как сейчас, повторяя это слово: «Шакал!» Интересно, какой он, шакал? В начальной школе у нас в классе была одна девчонка, она принесла как-то энциклопедию животных — хочешь посмотреть, кто такой тигр, открываешь энциклопедию и ищешь на «т»... Если бы у меня сейчас была эта энциклопедия, я бы открыл и посмотрел, что такое «шакал». Но мне девочка энциклопедию не давала: «Нет, ты испачка-

ешь!» – вот дура, зачем же ты тогда в школу ее принесла?! Впоследствии та девчонка, естественно, уехала в Стамбул – говорили, что ее отец разбогател. У нее еще подруга была, с синей лентой в волосах...

Кажется, я задремал... Когда поезд приехал в Тузлу, я забеспокоился, но страшно не было. В любой момент могут войти коммунисты. Сердар и Мустафа тоже замолчали и нервно поглядывают по сторонам. Но ничего не произошло. Поезд тронулся, и тогда я увидел надписи коммунистов на заборах: «Тузла станет фашистам могилой!» Значит, мы и есть те самые фашисты. Я выругался. Потом поезд доехал до нашей станции, мы сошли и молча пошли на остановку.

– Парни, у меня есть дело, – сказал Мустафа. – Пошел я!

Мы смотрели ему вслед, пока он не скрылся между маршрутными такси. И тут я неожиданно сказал Сердару:

– Не хочу в такую жару идти домой делать уроки.

– Да, – согласился Сердар, – очень жарко.

– Да и не соображаю я сейчас ничего, – сказал я. Помолчал немного и добавил: – Ну-ка, Сердар, пошли в кофейню.

– Не. Я в магазин. У меня дела.

Он ушел. Если у твоего отца есть магазин, у тебя внезапно, ни с того ни с сего, могут появляться дела. Но я-то все еще учусь! Не бросил, как все вы! Как странно: больше всего смеются надо мной. Я уверен, что Сердар вечером придет в кофейню раньше всех и расскажет всем про шака-

ла. Плюнь, Хасан, не расстраивайся – а я и не расстроился, а стал подниматься вверх, на холм.

Я смотрю на быстро проезжавшие мимо меня машины, грузовики, которые торопятся на паром в Дженнет-хисар или Дарыджу¹³, и мне как будто нравится думать, что я одинок. Я бы хотел, чтобы со мной произошло какое-нибудь приключение. В жизни так много всего, так много может произойти, а я все время чего-то жду. То, чего я хочу, происходит, но будто бы очень медленно, и когда случается, то совсем не так, как я думал и как ожидал. Так мне кажется. Все события происходят очень медленно, как будто бы для того, чтобы меня разозлить, а потом вдруг смотришь – а все уже давно закончилось. Вот как эти проезжающие машины. Они начинали действовать мне на нервы, я смотрю – может, хоть кто-нибудь остановится и мне не придется по такой жаре подниматься в гору. Но в этом мире никому дела до тебя нет. Я стал есть свой персик, но это меня не отвлекло.

Была бы сейчас зима – я бы сейчас побродил в одиночестве по пляжу; не стесняясь никого, вошел бы через открытую калитку на пустынный песчаный пляж; волны плескались бы, ударяясь о берег, а я бы брел по песку, то подпрыгивая, то отбегая, чтобы вода не попала в ботинки, и думал бы о своей жизни, думал бы, что обязательно стану кем-нибудь важным, и еще бы думал, что тогда на меня посмотрят другими глазами не только все эти дураки, но и все девчонки.

¹³ *Дарыджа* – пригород Стамбула.

И тогда мне не было бы так грустно, особенно при мысли о будущем, и тогда бы я не сказал Сердару: «Ну-ка пошли в кофейню», а мне было бы хорошо и одному – если бы сейчас была зима. Но зимой есть школа, черт бы ее побрал, чокнутые учителя...

А потом я увидел тот самый белый «анадол»¹⁴, поднимавшийся в гору. Пока машина медленно приближалась, я понял, что в ней – они, но, кажется, застеснялся и, вместо того чтобы остановиться и поднять руку, отвернулся. Они подъезжали все ближе и ближе, но, не узнав меня, проехали мимо. Когда они поравнялись со мной, мне на миг показалось, что я ошибся. Ведь в детстве Нильгюн не была такой красивой! Но кем еще, кроме Фарука, может быть тот толстяк за рулем? Какой толстый! И тогда я понял, куда я пойду: не домой! Я спущусь с холма, пойду и посмотрю на их дом; может, увижу моего дядю-карлика, он пригласит меня войти: если я не постесняюсь, то, конечно, войду, поздороваюсь; может быть, даже поцелую руку их бабушке, потом поздороваюсь с ними, спрошу, узнали ли они меня, скажу – я очень повзрослел, да, согласятся они, мы узнали тебя, ведь в детстве мы были близкими друзьями; мы будем говорить и говорить о том, как дружили в детстве; мы поговорим – и я забуду о своей гадкой грусти. Если пойду сейчас туда.

¹⁴ «Анадол» – название выпускавшегося в 1959–1985 годах первого турецкого автомобиля, созвучное географическому названию «Анатолия».

Пока «анадол» с трудом поднимался в гору, я спросил:

– Ребята, вы узнали его?

– Кого? – удивилась Нильгюн.

– А вот того, в синем, что шел по обочине. Он нас сразу узнал.

– Высокого? – Нильгюн обернулась и посмотрела назад, но мы уже были далеко. – Кто это?

– Хасан!

– Какой Хасан? – безразлично спросила Нильгюн.

– Племянник Реджепа!

– Надо же, как он повзрослел! – изумленно воскликнула Нильгюн. – Я его не узнала.

– Как не стыдно! – сказал Метин. – Мы же дружили в детстве.

– А ты чего его не узнал? – спросила Нильгюн.

– Так я же его не видел!.. Но как только Фарук сказал, я сразу понял, кто это.

– Вот молодец! – съязвила Нильгюн. – Какой умница!

– Так, значит, ты говоришь, что я в этом году совершенно изменился? – спросил Метин. – Но ты забываешь себя в прошлом.

– Не говори ерунду.

– Ты совсем про все забыла из-за своих книг, – сказал Ме-

тин.

– Не умничай! – огрызнулась Нильгюн.

Они замолчали. Тишина длилась долго. Мы поднялись на холм, по обеим сторонам которого каждый год выстраивались новые уродливые бетонные здания, проехали мимо смоковниц, через поредевшие виноградники и черешневые сады. Из приемника доносилась ненавязчивая, легкая европейская мелодия. Увидев вдалеке море и Дженнет-хисар, мы заволновались, наверное, так же, как волновались в детстве, я почувствовал это по тому, как все замолчали, но это длилось недолго. Мы молча спустились с холма и поехали мимо шумных, веселых, загорелых людей в шортах и майках. Когда Метин открывал ворота, Нильгюн сказала:

– Братишка, посигналь-ка.

Я заехал на машине во двор и с грустью посмотрел на дом, который, казалось, с каждым моим приездом еще больше ветшал и пустел. С деревянных дверей и окон осыпалась краска, плющ перебрался с боков на фасад, тень смоковницы падала на закрытые ставни Бабушкиной комнаты, петли окон первого этажа покрылись ржавчиной. Меня охватило странное чувство: в этом доме словно таилось нечто ужасное, чего я раньше по привычке не замечал, а сейчас я растерян и с беспокойством ощущал это. Я смотрел через неуклюжие створки большой входной двери, распахнутые специально для нас, на мертвую влажную тьму, окружавшую Бабушку и Реджепа.

– Давай, братик, выходи, чего ты сидишь, – сказала Нильгюн.

Она вышла из машины и пошла к дому. Тут она заметила фигурку торопливо шагнувшего из маленькой кухонной двери к нам навстречу Реджепа, увидев которого нельзя было не смутиться. Они обнялись, расцеловались. Я незаметно выключил игравшее радио и вышел из машины в безмолвный сад. На Реджепе был его всегдашний пиджак, скрывавший его возраст, и еще этот его странный узкий галстук. Мы обнялись и тоже расцеловались.

– Я волновался! – сказал он. – Вы задержались.

– Как ты?

– Ммм, – замялся он. – Все хорошо. Я вам комнаты приготовил, кровати постелил. Госпожа вас ждет. Фарук-бей, вы как будто еще больше поправились?

– Как Бабушка?

– Хорошо... Вот только на все жалуется... Дайте-ка я возьму ваши чемоданы.

– Да потом заберем.

Мы поднялись по лестнице, Реджеп впереди, мы – следом. Я почему-то обрадовался, вспоминая пыльный свет, струившийся в комнаты сквозь ставни, и запах плесени. Когда мы подошли к двери Бабушкиной комнаты, Реджеп на мгновение остановился, вздохнул, а потом его глаза весело и озорно вспыхнули, и он крикнул:

– Приехали, Госпожа, приехали!

– Где они? – раздался нервный старческий голос Бабушки. – Почему ты мне не говоришь? Где они?

В детстве я стучал по латунным спинкам кровати, где она сейчас устроилась, укрытая голубым, в цветочек, одеялом, спиной на трех подушках, лежавших одна на другой. Мы по очереди поцеловали ее руку. Рука была белой, мягкой, а на сморщенной коже виднелись знакомые пятна и родинки, которые радовали, как встреча со старинными друзьями. И комната, и Бабушка, и ее рука пахли одинаково.

– Здравствуй, Бабушка! Здравья тебе!

– Как вы, Бабулечка?

– Плохо, – ответила Бабушка, но мы ничего не сказали. Губы у нее слегка задрожали, она смутилась, как юная девушка, или сделала вид, что смутилась. Потом проговорила: – Ну, давайте, рассказывайте.

Мы, братья и сестра, переглянулись, и наступила долгая тишина. А мне подумалось, что в комнате пахнет плесенью, лакированной мебелью, старым мылом, может быть мятными леденцами и чуть-чуть – лавандой и одеколоном.

– Что, вам нечего рассказать?

Метин произнес:

– Бабушка, мы приехали сюда на машине. От Стамбула ровно пятьдесят минут.

Он каждый раз это говорит, и каждый раз, судя по Бабушкиному своенравному лицу, кажется, ее удастся на мгновение увлечь, но потом лицо приобретает прежнее выражение.

– Раньше вы за сколько часов доезжали, Бабушка? – спросила Нильгюн. Будто сама не знает.

– Я один раз приехала! – гордо, с видом победителя ответила Бабушка. И, вдруг вздохнув, добавила: – Сегодня я задаю вопросы, а не вы!

Кажется, ей понравились эти слова, сказанные по привычке. Некоторое время она обдумывала какой-то вопрос, но потом, когда заговорила, поняла, что не может задать такой заковыристый вопрос, как ей хотелось.

– Рассказывайте, как у вас дела!

– У нас все хорошо, Бабушка!

Она сердито нахмурилась, как будто потерпела поражение. Когда-то в детстве я боялся такого выражения ее лица.

– Реджеп, подложи мне подушку под спину!

– Все подушки уже у вас под спиной, Госпожа!

– Давайте я принесу еще одну, Бабушка, – предложила Нильгюн.

– Лучше скажи, чем ты занимаешься?

– Бабушка, Нильгюн поступила в университет, – проговорил я.

– Братик, не беспокойся, я сама в состоянии ответить, у меня язык есть, – сказала Нильгюн. – Бабушка, я изучаю социологию, в этом году закончила первый курс.

– А ты что делаешь?

– В следующем году окончу лицей, – ответил Метин.

– А потом?

– А потом уеду в Америку!

– И что там хорошего? – спросила Бабушка.

– Там живут богатые и оборотистые люди! – ответила

Нильгюн.

– Университет! – сказал Метин.

– Говорите по очереди! – потребовала Бабушка. – А ты что делаешь?

Я не сказал ей, что хожу на занятия с огромным портфелем, по ночам засыпаю в пустом доме, а поужинав, дремлю перед телевизором. И не сказал, что жду, когда придет время выпить, еще когда утром иду в университет; что меня пугает, что я утратил веру в то, что называется историей, и что скучаю по своей жене.

– Он стал доцентом, Бабушка, – сказала Нильгюн.

– Бабушка, мы так рады вас видеть, – произнес я, ни на что не надеясь.

– А что делает твоя жена? – спросила Бабушка.

– Бабушка, я же говорил в прошлый раз – мы развелись, – ответил я.

– Знаю-знаю, – сказала она. – А сейчас она чем занимается?

– Опять вышла замуж.

– Ты комнаты им приготовил? – спросила она.

– Приготовил, – ответил Реджеп.

– Вам больше нечего рассказать?

– Бабушка, в Стамбуле стало так много людей! – сказала

Нильгюн.

– И здесь много, – заметил Реджеп.

– Реджеп, садись сюда, – сказал я.

– Бабушка, этот дом так обветшал, – сказал Метин.

– Мне нехорошо, – ответила Бабушка.

– Сильно обветшал. Бабушка, давай его снесем, построим здесь каменный дом на несколько квартир, и вам будет удобно...

– Замолчи! – сказала Нильгюн. – Она тебя не слышит. Да и некстати.

– А когда будет кстати?

– Никогда!

Наступила пауза. Я словно слышал, как в душной комнате вещи поскрипывают, надвигаясь друг на друга. Из окон светил мертвый, будто состарившийся свет.

– Ты ничего не скажешь? – спросила Бабушка.

– Бабушка, а мы по дороге Хасана видели! – сказала Нильгюн. – Он вырос, так возмужал!

Бабушкины губы странно задрожали.

– Как у них дела, Реджеп? – спросила Нильгюн.

– Нормально! – ответил тот. – Живут в доме на холме. Хасан в лицее...

– Ты что им рассказываешь?!! – закричала на него Бабушка. – Ты о ком им рассказываешь?!!!

– А Измаил что делает? – спросила Нильгюн.

– Да так, – ответил Реджеп, – продает лотерейные билеты.

– Что это он вам рассказывает?!! – опять закричала Бабушка. – Говорите со мной, а не с ним! Реджеп, давай иди отсюда, спустись на кухню!

– Ничего страшного, Бабушка, – ответила Нильгюн. – Пусть он останется.

– Он вам уже что-то наговорил, да? – спросила Бабушка. – Что ты им сказал? Хочешь, чтобы тебя пожалели?

– Я ничего не говорю, Госпожа, – ответил Реджеп.

– А я только что видела, как ты разговаривал и что-то рассказал.

Реджеп вышел. Наступило молчание.

– Ну Нильгюн, теперь ты расскажи о чем-нибудь, – попросил я.

– Я? – удивилась Нильгюн. – О чем мне рассказать? – Она немного задумалась, а потом сказала: – Все так подорожало, Бабушка.

– Скажи, что ты не думаешь ни о чем, кроме книг, – сказал Метин.

– Умник несчастный! – огрызнулась Нильгюн.

– О чем вы разговариваете? – спросила Бабушка.

Опять наступило молчание.

– Ладно, Бабушка, – сказал я. – Мы пошли по своим комнатам.

– Вы же только что приехали, – сказала Бабушка. – Куда же вы?

– Никуда! – ответил я. – Мы ведь еще целую неделю здесь.

– Значит, ничем больше меня не порадуете, – сказала Бабушка. И кажется, почему-то слегка улыбнулась с торжествующим видом.

– Завтра на кладбище поедem, – сказал я, не подумав.

Реджеп ждал за дверью. Он отвел каждого из нас в наши комнаты, открыл там ставни. Мне он опять приготовил комнату с окном, выходящим на колодец. Я вспомнил запах плесени, чистых простыней и детства.

– Спасибо, Реджеп, – сказал я. – Как ты красиво все сделал!

– Ваше полотенце я повесил вот сюда, – показал он.

Я закурил. Мы вместе смотрели на улицу из открытого окна. Я спросил его:

– Реджеп, как дела этим летом в Дженнет-хисаре?

– Плохо, – ответил он. – Прежнего очарования не осталось.

– То есть?

– Люди стали злыми и безжалостными, – ответил он.

Он повернулся ко мне и, ожидая понимания, посмотрел мне в глаза. А потом мы, слушая шум с пляжа, опять стали смотреть на море и улицу, видневшуюся за деревьями вдалеке. Вошел Метин.

– Брат, дай, пожалуйста, ключи от машины.

– Ты уезжаешь?

– Да, вытащу свой чемодан и уеду.

– Если принесешь наверх и наши чемоданы, то дам тебе

машину до завтрашнего утра, – пообещал я.

– Не беспокойтесь, Фарук-бей, я принесу их, – сказал Реджеп.

– А ты сейчас не собираешься пойти в архив искать чуму? – спросил Метин.

– Что искать? – удивился Реджеп.

– Чуму я уже завтра буду искать, – сказал я.

– Сразу пить начнешь? – спросил Метин.

– А какое тебе дело до того, что я пью? – спросил я. Но не рассердился.

– И в самом деле! – ответил Метин, взял ключ от машины и ушел.

А мы с Реджепом, не раздумывая больше ни о чем, пошли за Метином и спустились вниз. Потом мне пришло в голову сходить на кухню и порыться в холодильнике, но, спустившись по маленькой лестнице, я, вместо того чтобы пойти туда, повернул в противоположную сторону и, пройдя мимо комнаты Реджепа, дошел до конца узкого коридора. Реджеп шел следом.

– Ключ от кладовой еще здесь? – спросил я. Потянулся к дверному наличнику и вытащил пыльный ключ.

– Госпожа не знает, – сказал Реджеп. – Не говорите ей.

Я повернул ключ, но дверь пришлось сильно толкнуть, чтобы открыть. Кажется, за ней что-то упало; я посмотрел и растерялся: запыленный череп лежал между дверью и сундуком. Я поднял его с пола, сдул пыль и, стараясь казаться

веселым, протянул Реджепу:

– Ты помнишь это?

– Что, простите?

– Ты, наверное, никогда не заходишь сюда.

Я положил череп на маленький столик, заваленный бумагами. Как ребенок, схватил и потряс какую-то стеклянную трубку, а потом положил ее на одну из чаш заржавевших весов. Реджеп стоял на пороге, молчал и со страхом смотрел на то, к чему я прикасался. Сотни маленьких скляночек, осколки стекла, ящики, брошенные в коробку кости, старые газеты, ржавые ножницы, пинцеты, книги на французском по анатомии и медицине, коробки, полные бумаг, фотографии птиц и самолетов, наклеенные на дощечки, стекла от очков, картонный круг, состоявший из семи разноцветных частей, цепи, швейная машина, за которой я в детстве играл в автомобиль, нажимая на педаль, отвертки, насекомые и ящерицы, приколотые к дощечкам, сотни пустых бутылок из-под раки, на которых было написано: «Управление по монопольной политике», различные порошки в аптечных пузырьках с этикетками и пробки в цветочном горшке...

– Это что, пробки, Фарук-бей? – спросил Реджеп.

– Да, возьми, если тебе надо.

Он не входил в комнату, наверное, потому, что боялся, и я подошел к нему, отдал их. Затем я нашел латунную табличку, на которой было написано, что доктор «Селяхаттин принимает больных каждое утро с 8 до 12, а после обеда с 14

до 18». На мгновение мне захотелось забрать эту табличку с собой в Стамбул, но не ради развлечения, а на память, а потом я вдруг почувствовал отвращение, странную ненависть и боязнь прошлого и истории и бросил табличку к другим запыленным вещам. После этого я запер дверь. Когда мы шли с Реджепом на кухню, я увидел в лестничном пролете Метина. Что-то бормоча, он носил наверх наши чемоданы.

Я поднял чемоданы Фарука и Нильгюн, а потом разделся, надел футболку и летний костюм, взял свой туго набитый кошелек, спустился вниз, сел в старый ржавый «анадол» и уехал. У дома Ведата я вышел из машины. Не было никого видно, кроме служанки, работавшей на кухне. Я прошел через двор за дом; слегка толкнув окно, увидел в кровати Ведата и обрадовался. Я подпрыгнул, как кошка забрался в комнату и прижал голову Ведата к подушке.

– Ты что, сдурел?! – закричал он.

Я засмеялся, у меня было хорошее настроение.

– Ну, что нового?

– Ты когда приехал? – спросил он.

Я рассматривал комнату, поэтому ответил не сразу. Все было как в прошлом году, включая фотографию вульгарной голый женщины. А потом я почувствовал нетерпение.

– Давай, – сказал я, – вставай, парень, подымайся!

– Что можно делать в такое время?

– А что все делают после обеда?

– Ничего-о-о!

– Что, здесь никого нет?

– Не, все тут, и еще кое-кто приехал совсем недавно.

– И где все собираются?

– У Джейлян! – ответил он. – Она недавно приехала с ро-

дителями.

– Хорошо! Пошли туда!

– Да Джейлян еще не проснулась.

– Ну тогда пошли куда-нибудь еще, искупаемся хотя бы! – предложил я. – В этом году я еще ни разу не купался, потому что преподавал английский и математику всяким недоразвитым деткам текстильных фабрикантов и скупщиков металла.

– То есть ты хочешь сказать, что Джейлян тебя не интересуется?

– Вставай, пошли лучше к Тургаю.

– Ты знаешь, что Тургая пригласили в молодежную баскетбольную команду?

– Меня это не интересует, я бросил баскетбол.

– Чтобы еще больше вызубривать, да?

Я ничего не ответил. Посмотрел на загорелое, здоровое, аккуратное тело Ведата и подумал: да, я очень много учусь, если я не буду первым в классе, мне будет сильно не по себе, и я знаю, что таких, как я, называют «зубрила», но у моего отца нет фабрики по производству конвейеров, и прядильной фабрики, во главе которой он поставит меня через десять лет, у него тоже нет; нет у моего несчастного отца и склада по приему металла, литейного цеха или пусть небольшого, но серьезного заказа из Ливии; и даже импортно-экспортной компании у него тоже нет. Есть у моего отца, уволившегося с должности каймакама¹⁵, только могила,

¹⁵ *Каймакам* – начальник уезда, района, мелкой административной единицы

раз в году мы ходим к ней, чтобы Бабушка не плакала дома, и тогда она плачет на кладбище. А потом я спросил: «Ну а другие что делают?»

Ведат лежал на кровати лицом вниз и не собирался вставать, но тут он хотя бы шевельнулся, передвинулся к краю подушки и стал рассказывать. Мехмед вернулся из Англии с девушкой-медсестрой, девушка сейчас живет у Мехмеда, вместе с его семьей, но спят они в разных комнатах, и девушка-то на самом деле – тридцатилетняя женщина, но с нашими девчонками общается нормально, а Туран, если я в курсе, в армии. Откуда мне знать, подумал я, зиму я провожу не в высшем обществе Стамбула и Анкары, а дома у тети или в школьной спальне, а чтобы заработать немного денег, даю уроки математики, английского и покера таким глупым детишкам богачей, как ты. Но я ничего не ответил, а Ведат рассказал, что отец Турана отправил его в армию, решив, что иначе сын никогда не станет человеком, и даже покровителей не стал ему искать, а сказал, что солдатская жизнь научит его уму-разуму. Когда я спросил, поумнел ли он, Ведат с серьезным видом ответил, что не знает. Он сказал, что Туран приехал на двухнедельную побывку, а когда начал рассказывать, что Туран ухаживает за Хюльей, я задумался. Потом Ведат добавил, что еще появился один новый парень, по имени Фикрет, и тогда я сразу понял, что Ведат им восхищается, потому что он называл этого Фикрета «классный

парень» и «умница», а потом стал рассказывать, какой мощности мотор у его катера. Меня это все уже сильно раздражало, и я перестал слушать этого болвана. Когда он это заметил, мы немного помолчали, но потом опять стали разговаривать.

– Что делает твоя сестра? – спросил он.

– Стала настоящей коммунисткой. Да еще и, как они, твердит постоянно: «Теперь я очень изменилась».

– Вот жаль; что ж это она?..

Я смотрел на фотографию голой женщины на стене.

– И у Сельчука сестра тоже такой стала, – добавил он почти шепотом. – Говорят, в кого-то влюбилась! Твоя тоже от этого?

Я не ответил. По моим нервным жестам он понял, что эта тема мне не нравится.

– А как твой брат?

– С ним вообще все плохо! – ответил я. – Только пьет и толстеет. Плюнувший на все увалень.

– Он тоже коммунист?

Я ответил и, пока говорил, разозлился: «Ему настолько все безразлично, что он не сможет заниматься никакой политикой. Но по правде, с сестрой они понимают друг друга хорошо. Меня же все это не интересует, пусть делают что хотят, но так как одна идейная настолько, что ненавидит деньги, а второй так ленив, что не может даже руку протянуть, чтобы заработать эти деньги, то все, что происходит, касает-

ся и меня. А дурацкий, старый, странный и мерзкий дом все так и стоит там непонятно зачем».

– А твоя Бабушка и этот, который работал в доме, больше не живут там?

– Живут. Но если бы они жили на одном этаже многоквартирного дома, который можно там построить, то тогда я бы всю зиму не бился с недоразвитыми детками богатеев – где ось гиперболы, какая связь между точкой пересечения гиперболы и коэффициентом k , понимаешь? Я обязательно должен уехать на будущий год в Америку учиться в университете, а как мне деньги найти?

– Ты прав, – ответил он, но, кажется, ему стало немного неудобно.

Мне тоже стало неудобно, так как я испугался, что Ведат решит, будто я не люблю богатых. Мы немного помолчали.

– Ну что, пошли уже на море, – сказал я затем.

– Да, и Джейлян уже, наверное, проснулась.

– Мы ведь не обязаны туда идти.

– Все собираются там.

Он встал с кровати, на которой до сих пор лежал неподвижно; на нем не было ничего, кроме маленьких плавок, у него было хорошо загорелое, ухоженное, аккуратное и красивое тело. Он зевнул, как зеваает человек, которого ничто не беспокоит.

– Фонда тоже собиралась идти!

Меня злило тело Ведата. И кажется, что-то еще.

– Хорошо, пусть.

– Но она ведь спит.

Я сказал: «Так иди разбуди», глядя на обнаженную женщину на стене и стараясь не смотреть на тело Ведата.

– Что, действительно разбудить?

Он ушел будить сестру. Потом вернулся, закурил, жадно затягиваясь, с таким видом, словно у него полно всяческих проблем, без сигареты он не может, и спросил меня:

– Ты все еще не куришь, да?

– Нет.

Наступило молчание. Я представил, как Фунда лежит в кровати и почесывается. Затем мы немного поговорили о разных мелочах вроде того, что холодная вода в море или теплая. А потом вошла Фунда:

– Ведат, где мои сандалии?

В прошлом году эта Фунда была маленькой девочкой, а в этом году у нее длинные красивые ноги и крохотное бикини.

– Привет, Метин!

– Привет!

– Что нового? Ведат, спрашиваю, где мои сандалии?

Брат и сестра тут же начали ссориться: он сказал ей, что она не следит за своими вещами, а она ему – что вчера нашла в его шкафу свою соломенную шляпу; они ругались еще некоторое время. Потом Фунда вышла, хлопнув дверью, а вскоре вернулась как ни в чем не бывало, и на этот раз они

заспорили, кому брать ключи от машины из маминой комнаты. В конце концов пошел Ведат. Мне было не по себе.

— Ну, Фунда, а у тебя что нового?

— Да что может быть нового! Ничего!

Мы немного поговорили. Я спросил, какой она в этом году закончила класс, оказалось — первый курс лицея, два года была на подготовительном, нет, она не в немецко-австрийском лицее, а в итальянском. Тогда я пробормотал ей: «Equipment eletrique Brevete type, Ansaldo San Giorgia Geneva...» Фунда спросила меня, не прочитал ли я это на каком-нибудь сувенире из Италии. Я не стал говорить ей, что во всех стамбульских троллейбусах над передней дверью висит табличка с такой вот непонятной надписью, и все, кто ездит на этих троллейбусах, волей-неволей запоминают это, чтобы не умереть от скуки, потому что меня внезапно охватило чувство, что если я скажу ей, что езжу на троллейбусах, то она станет меня презирать. Мы помолчали. Я немного подумал об отвратительном создании — их матери, ложившейся поспать днем, утопая в ароматах кремов и духов, проводившей время, лишь бы только поиграть в карты, и игравшей в карты, лишь бы убить время. Потом вернулся Ведат, размахивая ключом.

Мы вышли, сели в раскалившуюся на солнце машину, проехали двести метров, остановились перед домом Джейлян и вышли из машины. Мне захотелось что-нибудь сказать, так как было стыдно, что я волнуюсь.

– Как у них тут все изменилось!

– Да.

Мы прошли по камням, вкопанным в газон на расстоянии шага друг от друга. Садовник поливал на жаре сад. Тут я увидел несколько девушек и спросил у Ведата – просто лишь бы что-то сказать:

– Вы когда-нибудь играете в покер?

– А?

Мы спустились к ним по лестнице. Девушки лежали на шезлонгах в изящных позах. Они осмотрели меня, и мне подумалось: ведь на мне – рубашка из «Исмета», которую я купил на деньги, выигранные в покер, джинсы «Левайс», под ними – плавки, а в кармане – четырнадцать тысяч лир, заработанных мной за месяц частных уроков всяким дурням! Потом я опять спросил Ведата:

– Я спрашиваю, вы играете в азартные игры?

– В какие еще игры? Девчонки, знакомьтесь, это Метин!

С Зейнеб я уже вообще-то знаком.

– Привет, Зейнеб, как дела?

– Хорошо.

– Это Фахрун-Ниса, но не называй ее так, она рассердится.

Зови ее Фафа!

Некрасивая эта Фафа. Мы с ней пожали друг другу руки.

– А это – Джейлян!

Я пожал жесткую, но легкую руку Джейлян. Мне захотелось отвести взгляд. Внезапно я подумал, что, может быть,

влюблюсь, но эта мысль показалась мне наивной и глупой. Я посмотрел на море, и мне хотелось поверить, что я не волнуясь, что спокоен, и успокоиться. Другие заговорили, позабыв обо мне.

– На водных лыжах тоже трудно.

– Мне бы хоть раз удержаться на воде!

– Но, по крайней мере, на них не так опасно, как на обычных.

– Надо, чтобы купальник плотно сидел.

– Потом руки болят.

– Приехал бы Фикрет, покатались бы.

Мне стало скучно, я стоял, переминаясь с ноги на ногу, покашлял.

– Да сядь ты уже! – сказал Ведат.

Я был уверен, что выгляжу очень серьезным.

– Садись! – сказала Джейлян.

Я посмотрел на нее – она была красивой. Да! Я опять подумал, что, наверное, влюблюсь в нее, и вскоре поверил в то, что я верю в свои мысли.

– Вон там был шезлонг, – сказала Джейлян, указывая головой.

Я пошел к шезлонгу и мельком увидел через открытую дверь бетонного дома жуткую мебель на нижнем этаже. В американских фильмах богатые, но несчастливые супруги со стаканами виски в руках ругаются и кричат друг на друга именно среди такой мебели. Мебель эта и запах богатства

и роскоши, струившийся из дома, казалось, спрашивали меня: «Что ты здесь делаешь?» – но я успокоился и сказал себе: «Я умнее их всех, вместе взятых!» Я посмотрел на садовника, еще поливавшего сад, взял шезлонг, вернулся; он с легкостью раскрылся, я сел рядом с ними и, размышляя, влюбился я или нет, стал задумчиво слушать их.

Фафа рассказывала что-то на тему «у нас такой прикольный класс», а ее одноклассница Джейлян то и дело просила рассказать что-нибудь еще, и поэтому, когда эти рассказы закончились, я окончательно сжарился на солнце, но так ничего и не решил. Затем я надумал было тоже рассказать немного таких дурацких историй, так как не хотел считаться дикарем, который не понимает шуток, и в подробностях поведал им, как мы в школе украли из кабинета директора вопросы к экзамену. Я не стал рассказывать им, сколько мы заработали денег, когда продали эти вопросы кое-кому из глупых богатых учеников, – ведь они поняли бы меня неправильно. А этот пустяк, совершенный мной потому, что у меня нет богатого отца, который подарил бы мне на день рождения или без всякого повода часы «Омега», что у меня на руке, показался бы им отвратительным, несмотря на то что их отцы с утра до вечера проворачивают именно такие дела. В это время мы слышали ужасный шум мотора какого-то катера, приближавшегося к нам. Все повернулись и посмотрели в ту сторону. Я понял, что это Фикрет. Его катер так быстро подплыл к пристани, что, казалось, чудом не разбился, и, под-

няв в воздух водяной столб, внезапно остановился. Фикрет с трудом допрыгнул до берега.

– Как дела, народ? – спросил он, быстро взглянув на меня.

– Знакомьтесь, – сказал Ведат. – Метин, Фикрет!

– Ребята, что вы будете пить? – спросила Джейлян.

Все попросили кока-колу.

Фикрет даже не ответил, а только отмахнулся, поджав губы. Так отмахиваются, когда злятся. Я посмотрел на Джейлян, но не понял, расстроилась она или нет. Но зато я понял другое: мне давно известно, кого будет строить из себя этот Фикрет, – он изображает волевого мужчину. Когда ты некрасив и глуп, то должен выглядеть сильной личностью хотя бы благодаря своему быстроходному катеру и сверхскоростной машине, чтобы девчонки обращали на тебя внимание. Джейлян принесла напитки. Все долго сидели со стаканами в руках и разговаривали.

– Музыку включить?

– Куда пойдем вечером?

– Помнишь, ты говорила, у тебя есть Элвис?

– Был. Где же этот альбом, «Best of Elvis», а?

– Не знаю.

– Мне скучно.

– Что будем делать?

Затем, словно устав от слов и палящего солнца, мы немного помолчали, потом снова заговорили и опять помолчали, и вновь поговорили и замолчали, и в этот момент из неви-

димых колонок грохнула такая примитивная мелодия, что я подумал – теперь мне нужно что-нибудь сказать.

– Музыка как в лифте, – сказал я. – В Америке такую слушают, только когда долго едут на лифте.

– Долго едут на лифте?

Да, ты именно так и спросила, Джейлян, когда я заговорил, наблюдая, как ты меня слушаешь, и делая вид, что вообще не смотрю на тебя, потому что сейчас я, кажется, верю, что отныне влюблен в тебя, и стесняюсь этого. Но я говорил и рассказывал для тебя, Джейлян. Я рассказал, какое место в жизни ньюйоркцев занимают эти поездки на лифте, что небоскреб Empire State Building ровно 50 футов или 102 этажа высотой и что с него видна панорама на 50 миль. Правда, я не сказал, что в Нью-Йорк еще не ездил и ничего этого еще не видел, но зато сказал, что население этого города, согласно нашему школьному изданию энциклопедии «Британика» 1957 года, составляет 7 891 957 человек и, согласно этому же изданию, в 1940 году население было 7 454 995 человек. И вдруг Фафа перебила меня:

– Ух ты! Ну ты и зубрить!

Ты засмеялась вместе со всеми, и тогда я, пытаюсь дать вам понять, какой я сообразительный, и желая доказать, что, для того чтобы запоминать что-то наизусть, зубрежка не нужна, объяснил, что я, например, могу быстро умножать в уме двузначные цифры.

– Да, – подтвердил Велат, – у этого парня необыкновенная

голова, вся школа знает!

– Семнадцать на сорок девять! – сказала Джейлян.

– Пожалуйста: восемьсот тридцать три!

– Семьдесят на четырнадцать!

– Тысяча восемь!

– А как узнать, что правильно? – спросила Джейлян. –

Принести бумагу и ручку?

Я был взволнован, но только улыбался.

Тогда ты, Джейлян, не выдержав моей улыбки, действовавшей тебе на нервы, вскочила с места и, побежав в дом с той жуткой мебелью, вскоре вернулась; на лице у тебя было выражение жадного любопытства, а в руках – блокнот из какого-то отеля в Швейцарии и серебряная перьевая ручка.

« $33 \times 27 = ?$ », «891», « $17 \times 27 = ?$ », «459», « $81 \times 79 = ?$ », «6399!», « $17 \times 19 = ?$ », «323!», «Нет, 373», «Джейлян, умножь, пожалуйста, еще раз!», «Ладно, 323», « $99 \times 99 = ?$ », «Это самое простое! 9801».

Ты злилась, Джейлян, злилась так, что уже почти ненавидела меня.

– Да ты настоящий зубрила!

Я только улыбался и думал, что в дешевых бульварных романах, наверное, пишут правду, что любовь всегда начинается с ненависти.

А потом Джейлян пошла кататься на водных лыжах на катере Фикрета, а я погрузился в раздумья о соперничестве и, видимо, сразу понял, что эти мысли будут развлекать меня

до самой ночи, потому что, черт побери, я теперь верил и полагал, что я влюблен.

Я проснулся, встал, надел пиджак, повязал галстук и вышел на улицу. Какое тихое, сияющее, прекрасное утро! На деревьях вороны и воробьи. Я посмотрел на ставни – все закрыты. Все спят, вчера поздно легли. Фарук-бей выпил, а Нильгюн смотрела на него, пока он пил. А Госпожа то и дело звала к себе наверх. Я даже не услышал, во сколько пришел и лег спать Метин. Я осторожно, чтобы не разбудить никого скрежетом, надавил на насос, облил лицо холодной утренней водой, потом вернулся в дом, отрезал на кухне два куска хлеба, взял их, пошел в курятник, открыл дверь. Курицы с кудахтаньем сбежались ко мне. Я с удовольствием выпил два яйца, аккуратно разбив их с острого конца, съел свой хлеб. Взял еще несколько яиц и, не закрывая двери в курятник, пошел было уже на кухню, как вдруг увидел Нильгюн и удивился: она проснулась, взяла сумку и куда-то собирается идти. Заметив меня, она улыбнулась:

– Доброе утро, Реджеп!

– Куда в такую рань?

– На море. Потом будет много народу. Быстренько искупаюсь и вернусь. Яйца из курятника?

– Да, – ответил я и почему-то почувствовал себя в чем-то виноватым. – Завтракать будете?

– Буду, – ответила Нильгюн. Улыбнулась и ушла.

Я смотрел ей вслед. Точно как кошка – внимательная, капризная, осторожная. На ногах сандалии, ушла с голыми ногами. В детстве они у нее были тонкими как тростинки. Я вошел в дом, поставил кипятить воду для чая. Мать ее такой же была. А теперь в могиле. Поедем сейчас на кладбище, помолимся. Ты маму-то свою помнишь? Не помнит, ей же три года было. Доан-бей служил каймакамом где-то на востоке и в последние два года присылал своих на лето сюда. Твоя мама сидела в саду, на руках Метин, рядом – ты, на ее бледное лицо целый день светило солнце, но уезжала она в Кемах¹⁶ такой же бледной, как и приехала. «Хотите вишневого соку?» – спрашивал я у молодой госпожи. «Спасибо, Реджеп-бей, – говорила она, – поставьте сюда». Я поставлю, а у нее на руках Метин. Через два часа прихожу, смотрю – отпила только глоток из огромного стакана. Потом приходит толстый потный Фарук, говорит: «Мама, я проголодался» – и тут же залпом выпивает весь стакан. Вот молодец! Я достал скатерть, пошел постелить ее, как вдруг почувствовал запах раки: Фарук-бей разлил вчера вечером на стол. Я пошел, взял тряпку, обтер стол. Закипела вода, я заварил чай. Со вчерашнего дня осталось молоко. Завтра пойду к Невзату. Захотелось кофе, но я сдержался, продолжил заниматься делами.

Я раздумываю, а уже поздно. Когда я накрывал на стол, спустился Фарук-бей. У него, как у деда, тяжелая походка,

¹⁶ Кемах – небольшой городок в Восточной Анатолии.

от которой скрипят ступени. Он зевнул, что-то проворчал.

– Я заварил чай, – сказал я. – Садитесь, принесу вам завтрак.

Он тяжело плюхнулся туда, где сидел вчера вечером, когда пил.

– Молока хотите? – спросил я. – Хорошее, жирное.

– Хорошо, неси! – сказал он. – Моему желудку полезно.

Я пошел на кухню. Его желудок. Ядовитая вода, что скапливается там, когда он пьет, в конце концов проделает в нем дырку. «Если ты теперь будешь пить, ты умрешь, – говорила Госпожа. – Слышал, что сказал врач?» Доан-бей задумчиво посмотрел перед собой, а потом сказал: «Лучше мне умереть, мама, чем терпеть то, что голова не работает, я не могу жить бездумно». А Госпожа сказала: «Это называется не думать, сынок, а грустить». Но тогда они уже разучились слышать друг друга. Потом Доан-бей умер, пока писал те письма. Из рта у него пошла кровь, как у его отца; ясно, что из желудка. Госпожа плакала навзрыд и звала меня, будто от меня что-то зависело. Прежде чем он умер, я снял с него окровавленную рубашку, надел чистую, отглаженную, так он и умер. Сейчас поедем на кладбище. Я вскипятил молоко и осторожно налил в его стакан. Желудок – темный, неведомый мир, о нем только пророк Юнус¹⁷ ведает. Мне делалось страшно, когда я думал о черной дырке. Но своего

¹⁷ Пророк Юнус – один из пророков в исламе, в христианстве известен как пророк Иона.

желудка я не чувствую, его будто бы нет – ведь я знаю меру, забываться тоже умею, но я же не такой, как они. Я отнес ему молоко, смотрю – Нильгюн пришла. Как быстро! Волосы у нее мокрые. Красиво.

– Принести вам завтрак? – спросил я.

– А что, Бабушка на завтрак не спускается? – спросила она.

– Спускается, – ответил я. – По утрам и по вечерам.

– А днем почему не спускается?

– Ей не нравится шум с пляжа, – ответил я. – В обед я ношу тарелки наверх.

– Давайте подождем Бабушку, – предложила Нильгюн. – Когда она просыпается?

– Она уже давно проснулась, – ответил я. Посмотрел на часы: восемь тридцать.

– А-а-а, Реджеп! – вспомнила Нильгюн. – Я купила в бакалее газету. Теперь по утрам буду я покупать.

– Как хотите, – ответил я, выходя.

– Ну и что изменится от того, что ты будешь ее покупать? – вдруг закричал на нее Фарук-бей. – Что изменится от того, что ты узнаешь, сколько человек убили, сколько фашистов, сколько марксистов, а сколько нейтральных?

Я вышел из столовой. Куда же вы все торопитесь, что же вам всем надо, почему вы не можете довольствоваться малым? Ты никогда этого не узнаешь, Реджеп! Это же смерть. Я думаю об этом, и мне делается страшно – ведь человек та-

кой любопытный. Селяхаттин-бей говорил, что начало всей науки – любопытство; понимаешь, Реджеп? Я поднялся наверх, постучал в дверь.

– Кто там? – спросила она.

– Я, Госпожа, – ответил я, входя.

Она открыла свой шкаф, роется в нем. Сделала вид, что закрывает дверцы.

– Что случилось? – спросила она. – Чего они там кричат внизу?

– Ждут вас к завтраку.

– И поэтому кричат друг на друга?

В комнате запахло старыми вещами из шкафа. Я вдыхал этот запах и вспоминал.

– Что? Простите, я не расслышал, – проговорил я. – Нет, они шутят друг над другом.

– Прямо рано утром, за столом?

– Между прочим, если хотите знать, Госпожа, – начал я, – то Фарук-бей сейчас даже не пьет. В такое время никогда никто не пьет!

– Не защищай их! – рассердилась она. – А мне не ври! Я сразу вижу.

– Я не вру, – ответил я. – Они ждут вас к завтраку.

Она взглянула на открытую дверцу шкафа.

– Помочь вам спуститься?

– Нет!

– Будете есть в постели? Принести поднос?

– Принеси, – решила она. – А им скажи, пусть собираются ехать.

– Они уже готовы.

– Закрой дверь.

Я закрыл дверь и спустился вниз. Она каждый год заново перебирает свой шкаф перед поездкой на кладбище, словно хочет найти там что-то, чего никогда не видела и не надевала, но в конце концов всегда надевает одно и то же ужасное старое толстое пальто. Я пошел на кухню, положил на тарелку хлеб, понес в столовую.

– Читай, – говорил Фарук-бей Нильгюн. – Ну-ка, читай вслух, сколько сегодня погибло.

– Семнадцать человек, – ответила Нильгюн.

– Ну и какой из этого вывод?

Нильгюн еще больше уткнулась в газету, словно не слышала слов старшего брата.

– Никакого смысла во всем этом теперь нет, – проговорил Фарук-бей с легкой ноткой удовольствия в голосе.

– Госпожа сказала, что к завтраку не спустится, – сказал я. – Несу вам завтрак.

– Почему она не спускается?

– Не знаю, – ответил я. – Что-то ищет у себя в шкафу.

– Ладно, давай неси нам.

– Нильгюн-ханым, – сказал я, – у вас совершенно мокрый купальник, а вы в нем сидите. Простудитесь. Поднимитесь, переоденьтесь и читайте себе вашу газету...

– Видишь, она тебя даже не услышала, – заметил Фарук-бей. – Она еще так молода, что верит газетам. С упоением читает о погибших.

Нильгюн встала из-за стола, улыбаясь мне. А я спустился на кухню. Верить газетам? Я перевернул хлеб, приготовил тарелку для Госпожи. Госпожа читает газеты, только чтобы узнать, не умер ли кто из знакомых, – узнать, нет ли там о каком-нибудь старике, умершем в своей постели, а какой-нибудь парень, разорванный пулями или бомбой, ей совсем неинтересен. Несу ей поднос. Иногда она не может разобрать фамилии из некрологов, начинает сердиться, разговаривать сама с собой, а потом вырезает их из газеты. Если она не сильно злится, то иногда смеется при мне над фамилиями из некрологов. Это все надуманные имена, все это – от лукавого, что такое – фамилия? Я подумал: моя фамилия, Караташ, досталась мне от отца, давшего мне свое имя. Понятно, что она означает «черный камень». Между тем у других людей иногда не разобрать, что означают их фамилии. Вот у них, конечно, они надуманные. Я постучался, вошел. Госпожа все еще у шкафа.

– Я принес завтрак, Госпожа.

– Поставь сюда.

– Ешьте сразу, а то молоко остынет, – сказал я.

– Хорошо-хорошо! – ответила она. А сама смотрит не на поднос, а на шкаф. – Закрой дверь.

Я закрыл. Потом вспомнил про хлеб и побежал вниз,

на кухню. Ничего, не сгорел. Поставил на поднос яйцо для Нильгюн-ханым и остальную еду к завтраку и понес в столовую.

– Извините, я задержался, – сказал я.

– Метин что, завтракать не идет? – спросил Фарук-бей.

Что делать? Я опять поднялся наверх, пошел в комнату Метина, разбудил его, открыл ставни. Он ворчал, я спустился вниз, Нильгюн, оказывается, уже хочет чаю; я сходил на кухню, налил крепкого чаю; когда принес, смотрю – Метин уже спустился, даже уже за стол сел.

– Сейчас принесу вам завтрак, – сказал я.

– Во сколько ты вчера вернулся? – спросил Фарук-бей Метина.

– Не помню! – ответил Метин. На нем была только рубашка и плавки.

– Ты оставил в машине хоть немного бензина? – спросил Фарук-бей.

– Не беспокойся, брат! – ответил Метин. – Я ездил на чужой машине. «Анадол» здесь слишком...

– «Анадол» – что? – язвительно спросила Нильгюн.

– А ты читай свою газету! – оборвал ее Метин. – Я с братом разговариваю.

Я пошел ему за чаем. Положил жариться новый кусок хлеба. Принес крепкого чаю и спросил:

– Хотите молока, Метин-бей?

– Все спрашивали о тебе, – говорил Метин.

– А мне-то что? – фыркнула Нильгюн.

– Раньше вы с этими девочками были ближайшими подружками, – заметил Метин. – Были не разлей вода, а сейчас ты книг начиталась и презираешь их.

– Я не презираю их. Просто не хочу их видеть.

– Презираешь. Хотя бы привет передала.

– Не собираюсь я ничего передавать! – сказала Нильгюн.

– Хотите молока, Метин-бей? – повторил я.

– Ты видишь? Ты стала слишком идейной. И очень дерзкой.

– Ты знаешь, что такое – идейный? – спросила Нильгюн.

– Как не знать! – ответил Метин. – У меня сестра есть, ей недавно промыли мозги, а я каждый день это наблюдаю.

– Дурак!

– Хотите молока, Метин-бей?

– Ребята, перестаньте, ребята! – повторял Фарук-бей.

– Не хочу я молока, – ответил Метин.

Я сбегал на кухню, перевернул хлеб. Мозги ей, говорит, промыли. «Пока всем не очистят мозги от грязи, пустых верований и лжи, никому из нас нет спасения, поэтому я пишу многие годы, поэтому, Фатьма», – говорил Селяхаттин-бей. Я налил себе стакан молока и выпил половину. Хлебцы поджарились, и я отнес их.

– Когда Бабушка на кладбище начнет молиться, вы тоже молитесь! – говорил Фарук-бей.

– Я забыла все молитвы, которым меня научила тетя, –

сказала Нильгюн.

– Как ты быстро все забыла! – сказал Метин.

– Дорогая моя, я тоже все забыл, – сказал Фарук-бей. – Я говорю вам – вы только разведите руки, как Бабушка, чтобы она не расстраивалась.

– Не беспокойся, разведу, – сказал Метин. – Я на такие вещи внимания не обращаю.

– И ты разведи руки, хорошо, Нильгюн? – попросил Фарук-бей. – Да на голову что-нибудь завяжи.

– Хорошо, – согласилась Нильгюн.

– Это не будет противоречить твоим идеям? – спросил Метин.

Я вышел из столовой и пошел наверх, к Госпоже. Постучал в дверь. Вошел в комнату. Она уже позавтракала и опять стояла перед шкафом.

– Что случилось? – спросила она. – Что тебе нужно?

– Хотите еще стакан молока?

– Не хочу.

Я собирался забрать ее поднос, как вдруг она закрыла дверцу шкафа и крикнула:

– Не подходи!

– Да не подхожу я к вашему шкафу, Госпожа! – ответил я. – Вы же видите, я только поднос забираю.

– Что они там делают, внизу?

– Собираются ехать.

– Я еще не выбрала... – проговорила она, но затем будто

вдруг смутилась и посмотрела на шкаф.

– Поторопитесь, Госпожа! – сказал я. – А то поедем по самой жаре.

– Ладно, ладно... Закрой дверь получше.

Я спустился на кухню, налил воду для грязной посуды. Допил свое молоко, подождал, пока согреется вода; завоновался, вспомнив о кладбище; стало грустно; задумался о предметах и инструментах из кладовки. На кладбище ведь иногда хочется плакать. Сходил к ним, Метин-бей попросил чаю, я отнес. Фарук-бей курил и смотрел во двор. Все молчали. Я вернулся на кухню, вымыл посуду. Когда пришел к ним опять, Метин-бей уже сходил оделся. Я тоже вернулся на кухню, снял передник, проверил, в порядке ли галстук и пиджак, расчесал волосы, улыбнулся себе в зеркале, как всегда, когда стригусь в парикмахерской, и вышел к ним.

– Мы готовы, – сказали все трое.

Я поднялся наверх. Ну вот, Госпожа наконец оделась. Опять на ней то же черное, страшное пальто; Госпожа высокая, но ее рост с каждым годом уменьшается, и поэтому подол пальто уже касается пола, а из-под него торчат острые носы ее старомодных туфель, как носы двух хитрых личишек-сестричек. Она повязывала на голову платок. Увидев меня, точно смутилась. Мы немного помолчали.

– По такой жаре вы во всем этом вспотеете, – сказал я.

– Все готовы?

– Все.

Она оглядела комнату в поисках чего-то, посмотрела, что шкаф закрыт, опять что-то искала и, опять взглянув на шкаф, сказала:

– Ну что, помоги мне спуститься.

Мы вышли из комнаты. Она видела, что я закрыл дверь, но сама еще раз подтолкнула ее рукой. У лестницы она оперлась на меня, а не на свою палку. Мы медленно спустились вниз, вышли во двор. Пришли остальные. Мы уже сажали ее в машину, как вдруг она спросила:

– Вы хорошо закрыли двери?

– Да, Госпожа, – ответил я, но все-таки пошел еще раз подергал дверь, чтобы она убедилась, что дверь закрыта.

Слава богу – наконец она уселась в машину.

О Аллах, машина, дернувшись, поехала, а я вдруг – вот странно, – я вдруг разволновалась, словно села в повозку с лошадьми, как в детстве, а потом я вспомнила о вас, милые, бедные мои, на кладбище, и тогда подумала, что заплачу, но нет, еще не время плакать, Фатьма, потому что я посмотрела на улицу из окна машины, выехавшей из ворот, и подумала – неужели Реджеп останется сейчас один дома, как вдруг машина остановилась, мы подождали немного, и вскоре карлик тоже пришел, сел через другую дверь в машину, тоже на заднее сиденье, а когда снова машина поехала – «Ты хорошо закрыл калитку, Реджеп?» – «Да, Фарук-бей», – я сильно прижалась к сиденью, – «Бабушка, вы слышали? Реджеп хорошо закрыл калитку. Чтобы вы потом не заладили, как в прошлом году, что калитка осталась открытой...», – я стала думать о них и, конечно, вспомнила, как ты, Селяхаттин, повесил над калиткой, о которой сейчас говорили, медную табличку с надписью: «Доктор Селяхаттин, часы приема такие-то» – и говорил: «С бедных я деньги брать не буду, Фатьма, мне хочется познакомиться с народом, у нас, правда, еще не очень много пациентов, мы же не в большом городе, а далеко на побережье», – и верно, в те времена не было никого, кроме нескольких бедных крестьян, а сейчас, подняв голову, я вижу все эти дома, магазины, тол-

па, прости господи, полуголых людей на пляже – не смотри, Фатьма, – да что же это за шум такой, все в кучу, все впере-
ремешку, твой любимый ад, Селяхаттин, пришел на землю, смотри – все, как ты хотел, тебе это удалось, – правда, ес-
ли, конечно, тебе именно этого хотелось, видишь эту тол-
пу, – этого тебе хотелось, да? – «Бабушка с таким интере-
сом смотрит, правда?» – да нет же, вовсе не смотрю, но твои
бессовестные внуки, Селяхаттин, – «Бабушка, давай поедем
кружным путем и покатаем тебя?» – наверное, считают и ме-
ня, твою безгрешную жену, такой же, как и ты, ну правиль-
но, а что им еще делать, бедным деткам, так их воспитали,
ведь ты, Селяхаттин, и сына вырастил таким, как сам, и Доан
тоже своими детьми не интересовался, теперь за ними смот-
рит тетка, как мать – я не в состоянии, а когда тетя детьми
занимается, так и бывает, и думают они, что их Бабушке ин-
тересно смотреть на все эти уродства, когда она на кладби-
ще едет, ничего не думайте, видите – я даже не смотрю и,
уронив голову перед собой, открываю свою сумку, вдыхаю
ее запах – запах моей старости, а мои маленькие сухие руч-
ки достают из крокодильего мрака сумки маленький носо-
вой платок, я прикладываю его к сухим глазам, потому что
все мысли мои – о них, и только о них, – «Чего сейчас пла-
кать, не плачьте, Бабушка!» – но они же не знают, как я вас
любила, и не знают, что в этот солнечный день мысль о том,
что вы умерли, невыносима для меня; еще несколько раз
приложила платок к глазам, ладно, все, довольно, Фатьма,

всю свою жизнь я жила с болью, и поэтому смиряться я тоже умею, все, теперь успокоилась, все прошло, видите, я подняла голову и смотрю: дома, стены, пластиковые буквы, афиши, витрины, цвета, все это тут же кажется мне противным, о Аллах, какое уродство, не смотри больше, Фатьма, — «Бабушка, а как здесь раньше было?» — я занята только своими мыслями и своей болью, а вас не слышу, чтобы что-то ответить, чтобы рассказывать, что раньше здесь были сады, сады, сады — такие красивые сады, а где сейчас эти сады, и что в первые годы здесь вообще никого не было, и ваш дед, пока шайтан не завладел им, говорил мне каждый вечер: «Пойдем, Фатьма, с тобой гулять, извини, что я застрял тут, не вожу тебя никуда, я не хочу вести себя, как восточный деспот, из-за того, что моя работа над энциклопедией отнимает у меня много сил и что у меня совсем нет ни на что времени; я хочу развлекать мою жену, хочу сделать ее счастливой; пойдем хотя бы по садам немного погуляем и поговорим заодно, смотри, что я сегодня прочитал; думаю, что наукой невозможно перестать заниматься, а у нас все такое убогое потому, что нет науки; теперь я четко осознал — нам тоже необходима эпоха Возрождения, возрождения науки; передо мной — страшный, великий долг, и я должен выполнить его: по правде, я благодарен Талату-паше, что он сослал меня в эту глушь, потому что теперь я могу читать и размышлять, не будь у меня свободного времени и этого уединения, я бы никогда не додумался бы до всего этого и нико-

гда не понял бы, Фатьма, как важен этот исторический долг; ведь и Руссо размышлял в лугах, на природе, и все это – его фантазии одинокого скитальца, а нас-то двое.

– Мальборо! Мальборо! – Я испугалась, подняла голову и посмотрела, – кажется, мальчишка сейчас засунет руку в машину, тебя же задавят, малыш, и, проехав мимо бетонных стен, мы, слава богу, наконец поехали мимо садов, что по обеим сторонам холма, – «Так жарко, правда, братишка?» – там, где мы гуляли с Селяхаттином в первые годы, и тогда то один, то другой бедняга-крестьянин останавливался, заведя нас, и здоровался; они тогда еще не боялись его. «Доктор-бей, у меня жена сильно заболела, приходите к нам, пожалуйста, да благословит вас Аллах», – ведь он тогда еще не сошел с ума. – «Они несчастные, Фатьма, мне жалко их, я не взял с них денег, что делать», но, когда ему были нужны деньги, никто не приходил, и тогда мои кольца, мои бриллианты, – интересно, закрыла ли я шкаф, закрыла, – «Бабушка, вы хорошо себя чувствуете?» – эти никак не оставят человека в покое со своими глупыми вопросами; промокнула платком глаза; как можно хорошо себя чувствовать, когда едешь на могилу к мужу и сыну, теперь мне вас – «Бабушка, смотрите, мы едем мимо дома Измаила. Вот он!» – просто жаль, но что же это они такое говорят, о господи, так, значит, здесь – дом хромого, – не смотрю, но знают ли они, что этот ублюдок – твой, неизвестно, – «Реджеп, как Измаил?» – я внимательно слушаю, – «Хорошо, продает лотерейные биле-

ты», — нет, Фатьма, ничего ты не слышишь, — «Как его ногда?» — а известно ли кому-нибудь, что в этом есть и моя вина, потому что я хотела спасти от греха себя, своего мужа и своего сына, я не знаю, — «По-старому, Фарук-бей. Хромает», — интересно, сказал ли им карлик, — «Как Хасан?» — а ведь они тоже замечают сходство, как их дед и отец, — «Учится плохо, остался на второй год из-за математики и английского. И работы у него нет», — вот как скажут мне: «Бабушка, оказывается, они — наши дяди, Бабушка, мы ведь ничего не знали», сплунь, Фатьма, не думай, ты что, сегодня приехала сюда, чтобы думать об этом, но мы же еще не приехали, я буду плакать, я стала промокать платком глаза, у меня такой грустный день, а эти сидят себе в машине, болтают о том о сем, будто на прогулку отправились, а однажды, лишь раз за те сорок лет, мы поехали с Селяхаттином гулять на повозке, запряженной лошадью, и поднимались на ней по нескончаемому склону холма — цок-цок, цок-цок, — «Хорошо сделали, что поехали, Фатьма, у меня ведь обычно нет времени для таких прогулок из-за работы над энциклопедией; надо было мне еще бутылку вина и яиц вкрутую прихватить; поедem, посидим на лугу; но только чтобы воздухом подышать, ради природы, а не для того, чтобы, как наши соотечественники, наестся до отвала, как у нас в Турции принято; как красиво отсюда видно море; в Европе такую прогулку называют пикник, и во время него все делают неспешно; даст бог, Фатьма, мы тоже будем как европейцы когда-нибудь; мо-

жет, наши дети этого не увидят, а вот внукам, даст бог, пове-
зет – „Мы приехали, Бабушка, приехали, смотрите“, – и в те
дни, когда будет властвовать наука, наши внуки будут жить
счастливо, все вместе – юноши и девушки, – в нашей стране,
которая ничем не будет отличаться от европейских стран»,
мои внуки придут к тебе на могилу, Селяхаттин, как здесь
тихо, кузнечики стрекочут на жаре, умереть в девяносто лет,
сердце мое забилося, когда шум машины смолк, внуки вы-
шли из машины и открыли мне дверь – «Выходите, Бабушка,
давайте руку», – оказывается, из этой пластмассовой шту-
ковины выбраться гораздо труднее, чем из повозки, если я,
упаси Аллах, упаду, то тут же и умру, меня сразу похоронят
и, наверное, обрадуются...

– Возьмите меня под руку, держитесь, Бабушка. Вот так!
...может, расстроятся, сплунь, и чего я об этом думаю
сейчас, я выбралась из машины, и, пока мы медленно идем
среди надгробий, один держит меня под одну руку, другой –
под другую, надгробия эти, о Аллах, прости меня, сеют в мо-
ем сердце страх, – «Все в порядке, Бабушка?» – ведь одна-
жды и я окажусь здесь, одинокая и покинутая, – «Где же мо-
гила?» – среди этих надгробий на жаре будет пахнуть сго-
ревшей сухой травой, не думай сейчас об этом, Фатьма, –
«Нам в эту сторону, Фарук-бей!» – смотрите-ка, карлик все
еще говорит, верно, хочет доказать, что он лучше знает,
где они лежат, чем их дети, ведь ты хочешь сказать: «Я его
сын», да, остальные – «Здесь!» – увидели могилу – «При-

шли, Бабушка, здесь!» – своего отца и простодушной матери, я сейчас заплачу, сердце мое, вот вы, здесь, бедные мои, отпустите меня, оставьте наедине с ними, я вытерла глаза платком, Господи, почему же Ты и мою душу не забрал – раз я вижу вас здесь, сплунь, Фатьма, я ведь знаю почему, – я ни разу шайтана не послушалась, но я же сюда не обвинять вас... сейчас расплачусь, высморкалась и, задержав на миг дыхание, услышала кузнечиков, потом положила платок в карман, развела руки и читаю Аллаху за вас Фатиху¹⁸, читаю-читаю, дочитала, подняла голову, посмотрела, – хорошо, эти руки тоже подняли, молодцы, Нильгюн красиво голову повязала, а как противно карлик выставляет напоказ свое беспокойство, прости меня, Аллах, я не терплю, когда человек гордится тем, что он – выродок, будто он любит тебя, Селяхаттин, больше всех нас и потому больше молится; кого ты хочешь этим обмануть, надо было мне палку взять, где она, а ворота они заперли, но я пришла сюда думать не об этом, а о тебе, ты здесь, под этим одиноким, заброшенным камнем, разве пришло бы тебе когда-нибудь в голову, что я приду сюда и буду читать на камне, поставленном над тобой...

¹⁸ *Фатиха* – первая, открывающая сура Корана.

ДОКТОР СЕЛЯХАТТИН ДАРВИНОГЛУ

1881–1942

ПОКОЙСЯ С МИРОМ!

...вот, только что прочитала, Селяхаттин, но ведь ты больше не верил в Аллаха, и мне не хочется думать, что твоя душа корчится из-за этого там от адских мук, боже-боже мой, разве в этом я виновата, сколько раз я ему говорила: «Прекрати, Селяхаттин, не богохульствуй!» – разве ты не смеялся надо мной: «Глупая ты, ограниченная женщина! Тебе, как и вам всем, мозги промыли! Нет ни Аллаха, ни мира загробного! Мир иной – гадкая ложь, придуманная, чтобы руководить вами в этом мире. У нас нет ни одного доказательства бытия Бога, кроме всякой схоластической ерунды, есть только факты и предметы, и знать мы можем только о них или об их связях; мой долг – рассказать всему Востоку, что Аллаха не существует! Ты слушаешь, Фатьма?» – не думай об этом, не богохульствуй, я хочу думать о тех наших первых днях, когда ты еще не отдался шайтану, не потому, что нельзя плохо думать об умерших, а потому что ты действительно был очень хорошим и, как говорил мой отец,

у тебя действительно было блестящее будущее, разве он сидел скромно в своей смотровой, сидел, конечно, один Аллах ведает, что он там делал с несчастными больными, но туда приходили крашенные, с непокрытыми головами европейские женщины, и они закрывались там, их мужья, правда, тоже приходили, а я не находила себе места в соседней комнате, не думай ни о чем плохом, Фатьма, все вообще-то, наверное, из-за них и произошло, да, да, мы как раз здесь поселились, только привадили пару-тройку клиентов – он их называл «больные», – ведь это дело сложное, – видишь, Селяхаттин, в этом я признаю твою правоту, – никого тут нет на побережье, кроме нескольких рыбаков да ленивых крестьян из дальних деревень, что дремлют в углу кофейни на пустынном причале, а они и не болеют в этом чистом воздухе, а если и болеют, то не знают, что болеют; если и знают, то не приходят, да и вообще – кому приходить: несколько домов, несколько глупых крестьян; несмотря на это, он стал известным врачом, и приезжали больные из самого Измита, а больше всего из Гебзе, бывали даже такие, кто на лодках из Тузлы приплывал, и как раз когда он начал зарабатывать, он стал ссориться с клиентами, господи, а я слушаю из соседней комнаты: «Чем ты мазал эту рану?» – «Сначала табак приложили, доктор-бей, потом повязку с кизяком...» – «Боже, разве так можно, это же доморощенные средства, так никто не лечится, теперь есть наука!.. Так, а с ребенком что?» – «У него уже пять дней температура, доктор-бей...» –

«Уже пять дней! Почему вы его раньше не привезли?!» – «Шторм был на море, разве вы не видели, доктор-бей?» – «Вы ведь убили бы ребенка!» – «А что делать, коли Аллахом суждено, мы-то что сделаем?..» – «Да какой Аллах, нету Аллаха, умер Аллах!!!» – «Господи, перестань, сплюнь, Селяхаттин...» – «Да чего перестать-то, глупая женщина, ты мне еще не говори ерунды, как эти дураки-крестьяне! Мне стыдно за тебя! Говорю, скольких собираюсь настоящими людьми сделать, но собственной жене до сих пор не сумел вбить еще ни одной мысли в голову! Какая ты дура, пойми это хотя бы и поверь мне!» – «Селяхаттин, ты и этих больных потеряешь...», а он словно бы сумасбродил мне назло, когда я так говорила; слушаю из соседней комнаты, что он говорит несчастной больной женщине, приехавшей с мужем издалека, ему нужно дать ей лекарство, и он говорит: «Пусть эта женщина откроется, меня раздражает ее покрывало! Ты-то, ее муж, дурак деревенский, ты хотя бы ей скажи – раз не хочет открываться, хорошо, осматривать ее не буду! Убирайтесь оба, не собираюсь я кланяться этим вашим слепым верованиям!» – «Боже мой, доктор-бей, перестань, дай лекарство!» – «Нет, пока твоя жена не откроется – никаких лекарств! Убирайтесь! Всех вас обманули ложью об Аллахе!» – «Перестань, не богохульствуй, Селяхаттин, молчал бы ты уж лучше, хотя бы с ними не разговаривай так!» – «Нет, никого я не боюсь! Знаешь, обо мне теперь кто угодно что угодно говорит: „Этот доктор – безбожник, не ходите к нему, это –

сам шайтан, разве вы не видели у него череп на столе, а вся комната у него забита книгами, а еще там есть странные колдовские приборы, линзы например, что делают из блохи верблюда, трубки, из которых идет дым, проколотые иголками мертвые лягушки, кто же в своем уме пойдет туда по доброй воле доверять душу этому безбожнику, он здорового человека, упаси господь, покалечит, а того, кто ступит на порог его дома, удар хватит“», а недавно он сказал одному больному, приехавшему из самой Ярымджи: «Ты мне кажешься сообразительным малым, ты мне нравишься, ну-ка, бери эти страницы и иди читать их в кофейню», так и сказал: «Я, – говорит, – написал там, как нужно лечиться от тифа и туберкулеза, и еще написал, что Аллаха нет, иди, и пусть ваша деревня спасется; если бы я мог отправить в каждую деревню какого-нибудь такого же смышленного парня, как ты, и он собирал бы каждый вечер в кофейне всю деревню и читал бы в течение часа кусочек из моей энциклопедии, то этот народ спасся бы, но сначала – сначала мне нужно закончить мою энциклопедию, а работа все время затягивается, черт возьми, да и денег нет, Фатьма, твои бриллианты и кольца, твоя шкатулка...» – плотно ли калитку закрыли; конечно, не закрыли, – ведь теперь он уже вообще ничего не боялся, перестали к нему больные ходить, кроме нескольких безнадежно больных да тех, кому деваться некуда, и те – только порог переступят – раскаиваются, что пришли, а повернуть назад да шайтана рассердить бояться... но тебе и дела не было, Се-

ляхаттин, может быть, потому, что были мои бриллианты, и он говорил: «Теперь больные совсем не приходят, и хорошо делают, что не приходят, потому что я выхожу из себя, когда гляжу на этих дурней, меня охватывает ощущение безнадёжности, так сложно верить, что эти животные когда-нибудь станут людьми, тут я недавно спросил как-то у одного, сколько градусов сумма внутренних углов в треугольнике, я-то, конечно, знал, что этот бедняга из деревни, в жизни никогда не слышавший, что такое треугольник, не может знать про углы, но я взял карандаш и бумагу и стал объяснять ему, посмотрю, говорю себе, какая у них способность к математике, но виноваты, Фатьма, не эти несчастные, а это государство, которое даже не шевельнулось, чтобы дать им образование; господи, я сорок часов ему рассказывал, чего только не говорил, чтобы он понял, а он только оторопело смотрел на меня да еще испугался, смотрел точно так же, как ты, глупая женщина, смотришь теперь на меня, что ж ты смотришь на меня, будто дьявола увидала, жалкое ты создание, я ведь твой муж!» – да, Селяхаттин, ты – шайтан, ведь ты сейчас в аду, в адском пламени, а вокруг – зебани¹⁹ и кипящие котлы, или все же смерть такая, как ты говорил, он говорил: «Я открыл смерть, Фатьма. Послушай меня, это важнее всего, теперь смерть стала такой страшной, что я не могу это вытерпеть», и, подумав о том, как ему там, в могиле, я испу-

¹⁹ *Зебани* – ангелы, согласно мусульманской мифологии, ввергающие грешников в ад.

галась, – «Тебе плохо, Бабушка?» – и у меня внезапно закружилась голова, я решила, что падаю, но не беспокойся, Селяхаттин, в последний раз читаю Фатиху за упокой твоей души, даже если ты не хочешь, – «Бабушка, хотите, присядьте здесь, отдохните», – замолчите, замолчали, я слышу машину, проезжающую по дороге, затем – кузнечиков, и тут все смолкло, аминь, вытаскиваю платок, прикладываю к глазам, потом встала, я ведь всегда о тебе думаю, сынок, но сначала хотела вытащить из ада твоего отца, милый мой, бедный мой, несчастный мой, глупый мой сынок,

КАЙМАКАМ ДОАН ДАРВЫНОГЛУ

1915–1967

ПОКОЙСЯ С МИРОМ!

...вот, и тебе читаю Фатиху, неудачливый мой, горемычный мой, обиженный мой, несчастный мой, сиротинушка моя, читаю и тебе, аминь, и ты здесь, Господи Боже мой, мне вдруг показалось, что ты не умер, где мой платок, но – видите – я задрожала и разрыдалась, не успев вытереться, – «Бабушка, Бабушка, не плачьте!» – решила – не поспей они, рыдая, покачнусь и упаду на землю; Господи, несчастная я,

что же я сделала, что Ты так меня наказываешь, Господи, чтобы мне вот так на могилу к сыну ходить, я ведь сделала все, что могла, разве я хотела, чтобы так вышло, сынок мой, Доан мой, сколько, сколько раз я тебе говорила, что последнее, что ты должен делать в этой жизни, – слушаться отца, сколько раз я тебе говорила – не смотреть на него, не брать с него пример, разве я не отправила тебя, мальчик мой, учиться в такую школу, при которой живут, подальше от дома, хотя у нас тогда совсем не осталось денег, разве я не отправила тебя учиться в самые лучшие заведения, скрыв от тебя в те годы, что мы живем только на деньги от продажи колец, бриллиантов и алмазов из моей шкатулки, подаренной мне в приданое твоими покойными бабушкой и бабушкой, по субботам ты возвращался домой поздно, после обеда, и пьяный отец не ездил на станцию встречать тебя, и, пока он, не зарабатывая ни куруша²⁰, пытался выклянчить у меня денег, чтобы издать эти свои дурацкие записки, все – богохульство от начала до конца, я в одиночестве холодными зимними ночами утешала себя тем, что сын у меня хотя бы учится во французской школе, а однажды смотрю – и почему это ты туда пошел учиться? Ты что, вместо того чтобы стать инженером или коммерсантом, хочешь быть политиком? Знаю, захочешь – даже премьер-министром станешь, но разве такому, как ты, стоит заниматься этим? – «Мама, эта страна станет лучше только благодаря политике». – «Раз-

²⁰ *Куруш* – мелкая монета, 100 курушей равно 1 лире.

ве для тебя такое дело, глупый мой сынок, – страну приводить в порядок?» – говорила я, а он приезжал в те дни на каникулы усталым, задумчивым, господи боже мой... какая же я несчастная – он ведь даже сразу научился грустно ходить по комнате туда-сюда, совсем как его отец; я сказала: «Видишь, ты уже даже куришь в таком возрасте! Откуда эта грусть, эта печаль, сынок?» – а когда ты ответил: «Из-за страны, мама!» – разве я не напихала тебе денег в карманы – может, хоть это тебя развеселит, разве не отдала тебе втайне от отца мой розовый жемчуг, сказав: «Бери, отвези в Стамбул, продай и повеселись!» – чтобы ты поехал в Стамбул, развлекся, с девушками погулял, ни о чем не думал и повеселел, а потом ты внезапно женился на той несмышленной бледной маленькой девочке и привез ее домой – откуда мне знать почему, но разве я не желала тебе долгих счастливых лет, разве я не говорила тебе: «Прояви упорство хотя бы в своем деле; может, тебя министром сделают, не уходи с должности каймакама, смотри – вроде твоя очередь стать губернатором». – «Нет, мама, я больше не могу! Все отвратительно и уродливо, мама!» – ах ты мой бедный мальчик, ну почему же ты не можешь жить, как другие, просто ходить на работу и возвращаться домой, но однажды я рассердилась и сказала: «Я знаю – потому что ты трус и лентяй, не так ли? Ты – как твой отец, у тебя нет смелости жить, общаться с людьми, гораздо проще всех обвинять и всех ненавидеть, правда?» – «Нет, мама, нет, ты не знаешь! Все отвра-

тительны, я даже не могу больше терпеть должность кайма-кама, там чего только не делают, как только не издеваются над несчастными крестьянами, над нищими бедняками! Жена моя умерла, детьми пусть их тетя занимается, а я подам в отставку, приеду сюда и буду жить здесь! Все, мама, не приставай ко мне, в этом спокойном краю уже много лет только об этом и мечтаю!» — «Ну что, пойдете уже, Бабушка, уже очень жарко». — «Я хочу сесть и написать всю правду». — «Нет, я тебе не разрешаю!» — «Подождите еще немного, Метин-бей...» — «Ты не будешь здесь жить, ты уедешь и будешь жить полной жизнью! Реджеп, не корми его, взрослый человек, пусть уезжает и сам себе на хлеб зарабатывает!» — «Ты что, перестань, мама! Ты что, в таком возрасте опозоришь меня перед чужими людьми?» — «Оботрите тут кто-нибудь могильные плиты!» — помолчите, вы, невоспитанные, я что, не могу немного побыть наедине с вашим отцом, я тоже вижу грязные следы животных, разве все так должно было быть, но я тогда его спросила: «Ты что, пьешь?» — а ты замолчал, сынок, — «Отчего, ты же еще молодой, давай я еще раз тебя женю! И что ты будешь делать здесь с утра до вечера, в этом безлюдном месте?» — а ты все молчишь, да, о Господи, я знаю, ты, как твой отец, тоже сядешь и станешь писать всякие глупости, всякую ерунду, ты молчишь — разве не так, ох, сынок мой, как мне объяснить тебе, что ты не отвечаешь за все эти преступления, грехи и несправедливость, я жалкая невежественная женщина, смотри — теперь я стала сиротой,

надо мной смеются; если бы ты видел, сынок, как я убого живу, какая я горемычная, как я плачу... схватила платок, согнулась от рыданий, – «Перестаньте, Бабушка, хватит, перестаньте плакать. Мы еще приедем...» Господи, какая же я несчастная, меня хотят увести; оставьте меня наедине с моим сыном и с моим мужем, я хочу остаться только с ними, хочу лечь на его могилу, но не легла, нет, Фатьма, смотри, даже твоим внукам тебя жалко, вот, увидели, какая я бедная, злополучная, правы они, конечно, да еще по такой жаре, ладно, читаю еще раз напоследок Фатиху, но вижу, как уродец-карлик нагло смотрит на меня, как баран на новые ворота, ни на минуту не могут человека в покое оставить, везде – шайтан, будто притаился тут, за забором, и смотрит на нас, чтобы нас поссорить, ну, еще, в последний раз Фатиха – «Бабулечка, вам же очень плохо, давайте пойдем уже», – когда я развела руки, они отпустили меня и тоже развели руки, мы молимся в последний раз, молимся, проезжают машины; как жарко, хорошо, что я под пальто кофту не надела, в последнюю минуту в шкафу оставила, а шкаф, естественно, закрыла, если, правда, в пустой дом, упаси Аллах, вор не забрался, вот как мысли могут отвлечь, прости меня, аминь, мы уже уходим, – «Бабушка, обопритесь на меня!» – до свидания, ах, а ведь еще и ты здесь, разве упомнишь все...

ГЮЛЬ ДАРВЫНОГЛУ

1922–1964

ПОКОЙСЯ С МИРОМ!

...меня-то ведь уже уводят, да и по такой жаре я не в состоянии еще раз останавливаться и молиться, пока внуки молятся за тебя, будет считаться, что и я помолилась, маленькая, бледная, бесцветная девочка, а мой Доан так хорошо к тебе относился, приводил руку мне целовать, а потом вечером тихо приходил ко мне в комнату – «Как ты, мама?» – а что мне сказать тебе, сынок, я сразу поняла – такая слабая, бледная девочка недолго проживет, хватило тебя родить троих детей, так быстро себя растратила, бедненькая, ела всегда с краю тарелки, несколько кусочков, как кошечка, я тебе говорила: «Давай положу еще ложечку, доченька!» – а глаза у нее казались больше от грусти: маленькая бледная девушка, моя невестка, боявшаяся лишний раз поесть, какие могли быть у тебя грехи, чтобы тебе нужна была моя молитва, раз есть с удовольствием они не умеют, жить полной жизнью они не умеют, они умеют только проливать слезы над чужой болью да умирать, бедненькие мои, смотрите, я ухожу – ведь

меня уже взяли под руку: «С вами все нормально, Бабушка?» – и, слава богу, мы наконец возвращаемся домой.

Они уже собирались уезжать, как вдруг их Бабушка захотела еще раз помолиться, и тогда только одна Нильгюн простерла вместе с ней руки к Аллаху, да, только Нильгюн: Фарук вытащил свой огромный, как простыня, платок и вытирал пот, дядя Реджеп поддерживал Госпожу, а Метин засунил руки в задние карманы джинсов и уже не пытался даже сделать вид, что молится. Потом они быстренько, кое-как дочитали эту молитву. Бабушка опять пошатнулась, они взяли ее под руки с обеих сторон и уводят. Когда они развернулись ко мне спиной, я смог совершенно спокойно выглянуть из-за забора и живой изгороди и увидел смешную картину: Бабушка в ужасных, нелепых штанах, похожих на черный чаршаф, напоминала пугающую марионетку, которой велика ее одежда, в это время с одной стороны ее поддерживал огромный толстяк Фарук, а с другой стороны карлик, мой так называемый дядя. Все это выглядело смешно. Но может быть, оттого, что мы были на кладбище, я не засмеялся, а испугался и стал смотреть на тебя, Нильгюн, на платок у тебя на голове, что так тебе шел, а потом и на твои стройные ноги. Как странно: ты выросла, стала взрослой и красивой девушкой, а ноги у тебя еще как тростинки.

Когда вы сели в машину и уехали, я вышел из своего укрытия, чтобы никто не решил, что я совершаю что-то плохое,

и подошел посмотреть на тихие могилы: вот ваш дедушка, это ваша мама, а вон – ваш отец, а я видел только его. Помню, когда мы играли в саду, он иногда выглядывал из-за ставней, видел нас вместе, но не ругал вас за то, что вы играете со мной. Я прочитал за него Фатиху, потом недолго постоял там, жарясь на солнце и слушая кузнечиков, и странные мысли, странные туманные мысли посетили меня, я опять ощутил страх, в голове все смешалось, я почувствовал себя так, будто накурился. Потом я вышел с кладбища, пошел домой, к учебнику по математике, оставленному дома открытым на столе. Час назад, когда я сел за стол, я посмотрел на улицу и тут же увидел, как вы ехали на вашем белом «анадоле» вверх по холму, и я понял, куда и зачем вы едете, раз с вами Бабушка. Тогда я подумал о кладбище и покойниках, и вся эта дурацкая математика, которая и так действует мне на нервы и все никак не лезет мне в голову, окончательно вылетела у меня из головы, и я решил – пойду-ка я туда посмотреть на них, полагая, что, когда увижу, что они там делают на кладбище, – успокоюсь, а потом вернусь и сяду заниматься. Я вылез через окно, чтобы мама не видела и не огорчалась понапрасну, прибежал сюда, увидел вас, а сейчас возвращаюсь к открытому учебнику математики.

Пыльная дорога закончилась, начался асфальт. Мимо меня проезжают машины, я пару раз голосовал, но ведь у тех, у кого такая машина, совести быть не может: они уносятся вниз с холма на последней скорости, не замечая меня. По-

том я пошел к дому Тахсина. Пока он с матерью собирает за домом черешню, отец продает ее, сидя под навесом, и тоже будто не видит меня. Он даже не поднял голову взглянуть на меня, потому что я не проезжаю мимо него на шикарной машине со скоростью сто километров в час и, внезапно тормознув, не покупаю сразу пять кило черешни на целых восемьдесят лир. Я было сказал себе, что теперь только я один думаю о чем-либо, кроме денег. Но тут я увидел Халиля на его грузовике для мусора и обрадовался. Он ехал вниз, я поднял руку, и он остановился. Я сел.

– Как твой отец? – спросил он.

– Как-как! Все с лотереей! – ответил я.

– И куда он ходит?

– По утрам в поезде торгует.

– А ты?

– А я еще учусь. До какой он разгоняется? – спросил я, кивнув на грузовик.

– До восьмидесяти! – ответил он. – А почему ты здесь?

– Да голова разболелась. Вышел прогуляться, – сказал я.

– Если у тебя в таком возрасте уже голова болит...

Мы рассмеялись. Он притормозил возле нашего дома, но я сказал:

– Нет, я выйду на квартал дальше.

– Почему там?

– Да приятель там у меня один, ты его не знаешь!

Когда мы проезжали мимо моего дома, я заглянул в свое

открытое окно. Вернусь домой прежде, чем днем придет отец. Мы подъехали к следующему кварталу, я сразу же слез с грузовика и быстро-быстро зашагал прочь, чтобы помощники Халиля не считали меня глупым лентяем. Я дошел до самого пирса, ненадолго присел там, потому что обливался потом от жары, и стал смотреть на море. Какой-то катер быстро подплыл к пирсу, высадил девушку и уплыл обратно в море. Глядя на нее, я подумал о тебе, Нильгюн. Только что собственными глазами видел, как ты воздела руки к Аллаху. Это выглядело странно. Словно разговаривала с Ним. А потом я подумал: «В Книге пишут, что есть ангелы. Так и шайтан есть. И всякое другое». Мне показалось, что я стал думать обо всем этом потому, что хотел испугаться Аллаха. Чтобы хорошенько напугаться, струсить, почувствовать себя виноватым и, взбежав вверх по холму, вернуться домой и сесть за математику. Но я и так скоро за нее сяду. А сейчас лучше немного прогуляться. Я пошел дальше.

Я опять вспомнил о преступлениях, о грехах и шайтане; когда пришел на пляж, услышал этот отупляющий шум и увидел эту кучу живого мяса. Куча шевелящегося мяса – из нее то и дело всплывает разноцветный надувной мяч и тут же падает и исчезает, мяч словно хочет убежать от всех преступлений и пороков, но женщины его ловят опять. Я еще немного посмотрел на толпу через проволочный забор, увитый плющом. Так странно: иногда мне хочется совершить что-нибудь плохое, мне хочется как-то обидеть их, чтобы

они меня заметили: так я сумею наказать их, все перестанут внимать шайтану и тогда, наверное, будут бояться только меня. Иногда я думаю, что рожденный ползать летать не сможет. Но потом мне делается стыдно. Стало стыдно и сейчас. Чтобы забыть о стыде, я стал думать о тебе, Нильгюн. Ты невинна. От толпы было невозможно оторвать взгляд, я решил – еще немного посмотрю и вернусь к математике, но вдруг смотритель пляжа спросил меня:

– Чего ты здесь торчишь?

– А что, нельзя?

– Если собираешься входить – входи, вон там билеты продаются, – сказал он. – Если у тебя есть плавки и деньги...

– Нет, – ответил я. – Не хочу. Я уйду.

Я ушел. «Если у тебя есть деньги...» «Если у тебя есть деньги...» «Сколько...» Теперь это твердят вместо Фатихи. Вы все такие противные, и иногда я чувствую себя совершенно одиноким: половина – мерзавцы, половина – дураки. Если задуматься обо всем этом, то испугаешься этой толпы, но, к счастью, есть наши ребята, и, когда я вместе с ними, я никогда не путаюсь, а точно знаю, что такое грех и преступление, что можно, а чего нельзя, и ничего не боюсь. И еще очень хорошо понимаю, что нужно делать. А потом я вспомнил, как наши парни смеялись надо мной вчера вечером в кофейне, обзывая шакалом, и разозлился. Ну и ладно. Я, господа, и сам смогу сделать все, что предстоит сделать, и путь этот я пройду в одиночестве, потому что мне все известно.

Я почувствовал веру в себя и ощутил уверенность.

Пока я брел, я дошел до вашего дома, Нильгюн. Сначала я не заметил этого, а потом увидел старую, заросшую мхом стену и понял, что это ваш дом. Калитка в сад закрыта. Я пошел, сел под каштаном на противоположной стороне улицы и стал смотреть на окна и стены вашего дома, было любопытно, что ты делаешь там, внутри. Может быть, ты обедаешь, может, у тебя все еще на голове тот платок, а может быть, ты прилегла поспать. Я поднял с земли веточку и стал задумчиво рисовать твое лицо на песке у обочины. Наверное, когда ты спишь, твое лицо еще красивее. Глядя на это лицо, я забываю о преступлениях, ненависти и грехах, в которых, как мне кажется, я погряз по самую шею, забываю и о гнилостном чувстве вины и говорю себе: какие у меня могут быть грехи, я же не такой, как они, а такой, как ты, я верю в это. Потом я представил: а что, если тайком, не замеченному карликом, пробраться в сад и по дереву и выступам забраться наверх по стене, и через вон то открытое окно залезть к тебе в комнату, как кошка, и поцеловать тебя в щеку?.. «Кто ты?» – «Ты не узнала меня? Мы играли в детстве в прятки, я люблю тебя, я люблю тебя больше, чем все изысканные мужчины, с которыми ты знакома!» Тут я почему-то разозлился: затоптал лицо, нарисованное на песке, и уже встал и собрался уходить – надоели мне все эти дурацкие фантазии, как вдруг увидел: Нильгюн вышла из дома и идет к калитке.

Всё поймут неверно, всё дурно истолкуют. Я сразу же отошел недалеко, встал спиной к калитке. Услышав ее голос, обернулся – ты вышла из калитки и куда-то идешь. Куда? Мне стало любопытно, я пошел следом.

В ее походке есть нечто странное – она чуть-чуть переваливается. Как мужчина. А если догнать ее и коснуться плеча? «Ты не узнала меня, Нильгюн? Я – Хасан, помнишь, в детстве мы играли у вас в саду вместе с Метином, а потом рыбу ловили?»

Она дошла до угла, не обернувшись, идет дальше. Ты что, на пляж идешь, будешь там, среди них? Я рассердился, но продолжал идти следом за ней. Ноги тонкие как тростинки, а идет быстро. Куда ты так торопишься, тебя кто-то ждет?

Но она прошла пляж, свернула и идет вверх по улице. Теперь я могу предположить, кто тебя ждет. Может, ты сядешь в его машину, а может, у него есть катер. Я иду следом, потому что мне любопытно, кем же из них он окажется, ведь я знаю, что он такой же, как все они.

Вдруг она зашла в одну из тамошних бакалейных лавок и пропала из виду. Перед лавкой мальчик продает мороженое. Я знаю этого малыша и стал ждать неподалеку, чтобы мальчик не подумал обо мне чего-нибудь не то. Не люблю прислуживать богачам.

Через некоторое время Нильгюн вышла и, вместо того чтобы идти дальше, пошла обратно тем же путем, что и пришла, прямо ко мне. Я быстро отвернулся и наклонился – яко-

бы завязываю шнурок на ботинке. Она подошла с пакетом в руках и посмотрела на меня. Я смутился.

– Здравствуй, – сказал я, вставая.

– Здравствуй, Хасан, – ответила она. – Как твои дела? – Немного помолчав, она добавила: – Мы вчера видели тебя по дороге, когда ехали сюда, старший брат тебя узнал. Ты так вырос, очень изменился. Чем ты занимаешься? – Она опять немного помолчала и продолжила: – Твой дядя сказал, вы все еще живете наверху, а твой отец продает лотерейные билеты. – Еще немного помолчала и спросила: – Ну а ты что делаешь, говори, в какой перешел?

– Я? Я в этом году на второй год, – наконец выдавил из себя я.

– А почему?

– Ты на море идешь, Нильгюн?

– Нет, – сказала она. – Я иду из бакалеи. Мы возили Бабушку на кладбище. Кажется, ей стало немного плохо от жары, купила ей одеколон.

– Значит, ты не идешь на этот пляж, – уточнил я.

– Там очень много народу, – ответила она. – Я пойду рано утром, когда нет никого.

Мы немного помолчали. Потом она улыбнулась мне, я ей тоже и подумал, что ее лицо вблизи не такое, каким казалось мне издалека. Я взмок как дурак. Решит, что от жары. Молчу. Она шагнула в сторону и сказала:

– Ладно. Передавай привет отцу, хорошо?

Она протянула руку, и мы обменялись рукопожатием. Рука у нее мягкая и легкая. Мне стало стыдно, что у меня вспотела ладошка.

– До свидания, – сказал я.

Она ушла. Я не стал смотреть ей вслед, а побрел куда-то с задумчивым видом, как люди, у которых есть очень важные дела.

Мы вернулись с кладбища, Бабушка поела с нами внизу, а потом ей стало плохо. Правда, ничего серьезного. Мы с Нильгюн смеялись, а она вдруг как-то злобно посмотрела на нас и тут же уронила голову на грудь. Мы взяли ее под руки, отвели наверх, уложили в кровать и протерли ей запястья и виски одеколоном, который принесла Нильгюн. Потом я пошел к себе в комнату и выкурил первую послеобеденную сигарету в своей жизни. Когда стало ясно, что с Бабушкой ничего серьезного, я сел в раскалившийся на солнце «анадол» и уехал. Я поехал не по главной трассе, а по дороге на Дарыджу. Ее тщательно заасфальтировали. Но несколько черешен и смоковниц еще осталось. В детстве мы приходили сюда с Реджепом погулять и устраивали нечто вроде охоты на ворон. Где-то здесь должны быть развалины, которые, как я считал, когда-то были караван-сараям. На холмах построили новые кварталы. И сейчас еще строят. В Дарыдже я не увидел ничего нового – лишь статую Ататюрка десятилетней давности.

В Гебзе я пошел прямо к каймакаму. Каймакам поменялся. Два года назад за этим столом сидел уставший от жизни человек, а сейчас – молодой парень, все время размахивавший руками. Мне не понадобилось ни вытаскивать мою диссертацию, изданную на факультете, ни говорить, что я рань-

ше уже бывал в архиве или что мой покойный отец тоже был каймакамом, что я собирался проделать, чтобы произвести на него впечатление. Он позвал какого-то человека и отправил меня с ним. Вместе мы стали искать Резу, которого я знал с прошлых посещений архива, но найти его не смогли – нам сказали, он ушел в поликлинику. Я решил немного прогуляться по рынку, пока он не вернется.

Пройдя по узкому проходу, над которым свешивался вьющийся кустарник, я вышел к рынку. Сначала я пошел вниз по улице. На улице никого. Какая-то собака бродит по тротуару, в магазине по продаже металлических изделий какой-то человек возится с газовым баллоном. Я вернулся назад, не обращая внимания на витрину канцелярского магазина, и пошел дальше, прячась от солнца в узенькой тени перед магазинами, пока не увидел мечеть. Потом опять вернулся на маленькую площадь, сел под платаном, выпил чаю, чтобы прогнать сон, и, вполуха слушая радио, работавшее в кафе, попытался забыть о жаре, наслаждаясь тем, что никому нет до меня дела.

Когда я вернулся в здание районной администрации, Реза уже пришел: увидев меня, узнал и обрадовался. Пока он искал ключи, мне нужно было написать заявление. Мы вместе спустились в подвал. Он открыл дверь, и я сразу вспомнил запах плесени, пыли и влаги. Мы немного поболтали, пока Реза вытирал пыль со старого стола и стула. Потом он ушел, оставив меня одного.

В архиве Гебзе нет ничего особенного. Все, что есть, осталось от короткого промежутка времени, когда городок был судебным округом, о чем мало кто знал и чем мало кто интересовался. Большая часть документов, сохранившихся с того времени, была отправлена в Измит, который тогда назывался Изникмит. А здесь остались лишь сваленные в кучу, забытые в коробках, друг на друге ферманы²¹, купчие, судебные реестры и официальные ведомости, да так и лежат. Тридцать лет назад один школьный учитель истории, любивший свою профессию и пылавший тем бюрократическим национализмом, что был свойствен многим в первые годы республики, пытался навести в этих бумагах какой-то порядок, но потом бросил. Два года назад я решил продолжить его незавершенное дело, но, проработав неделю, испугался. Чтобы быть архивариусом, нужно иметь больше смирения, чем историку. В наши дни мало кто, набравшись хоть какой-то грамоты, способен на такую скромность. И наш школьный учитель тоже был таким: он сразу поддался искушению описать в собственной книге часы, проведенные в архиве. Помню, что в те дни, когда мы ссорились с Сельмой, я читал ради развлечения, за пивом, эту книгу, в которой учитель, помимо истории собственной жизни и жизни своих знакомых из Гебзе, рассказывал о знаменитостях, а также об исторических зданиях городка. Потом я рассказывал о ней некоторым коллегам с факультета, но все они в один голос твердили мне:

²¹ *Ферман* – приказ султана в Османской империи.

нет, совершенно невозможно, чтобы в Гебзе находились такие документы! Я замолкал, а они мне доказывали, что в Гебзе не может быть даже архива.

Мне гораздо приятнее работать в таком месте, в существование которого не верят специалисты, чем работать в Архиве аппарата премьер-министра вместе с завистливыми коллегами. Я с удовольствием перебираю истрепанные, помятые, покрытые желтыми пятнами и плесенью листки бумаги, вдыхая их запах. Мне кажется, что, по мере того как я читаю, я словно бы вижу людей, чьи жизни привязаны к тому, что здесь написано, которые писали или приказывали писать эти бумаги. Возможно, я пришел в архив именно ради удовольствия видеть этих людей, а не для поисков упоминаний о чуме, которые, как мне казалось, я видел в прошлом году. По мере того как читаешь кипы поблекших бумаг, они начинают расступаться перед тобой. Подобно тому как после долгого морского путешествия туман, от которого вы задохлись всю дорогу, рассеивается и внезапно показывается кусочек суши, изумляя вас каждым своим деревцем, камнем и птицей, так и в моем сознании, пока я читаю, из бумаг, постепенно расступающихся передо мной, внезапно появляются миллионы переплетенных жизней и историй. И тогда я очень радуюсь и решаю, что история – это и есть красочный и полный жизни образ, что оживает в моем сознании. Если меня попросят сказать, что это за образ, я не смогу. А потом он исчезает, оставив после себя странное ощущение.

ние. И мне делается страшно, что я никогда больше не увижу этот мимолетный образ, и мне хочется все время думать о нем. Я пытаюсь опять найти его, покурив, но, черт возьми, в архивах обычно и курить запрещено.

Читая один судебный реестр, я подумал, что, возможно, смогу опять увидеть этот образ, если буду записывать то, что читаю. Я стал писать в тетради, которую принес с собой в сумке. Некто по имени Джеляль жалуется, что Мехмет его оскорбил. Обозвал его шарлатаном! А в присутствии кадия все отрицает! У Джеляля есть свидетели, по имени Хасан и Касым, которые подтверждают: «Да, обругал!» Кадий позвал Мехмета разъяснить дело под присягой. Мехмет не смог. Дата этого случая стерлась, и я не смог записать его. Затем я прочитал и записал о том, что некто по имени Хамза назначил себе опекуном Абди. После этого я записал, как был пойман один раб русского происхождения по имени Дмитрий. Было установлено, что его хозяином является Вели-бей из Тузлы, и Дмитрия решили вернуть ему. Еще я прочитал о том, что случилось с пастухом Юсуфом, оказавшимся в тюрьме потому, что он потерял корову. Говорит, не продавал корову и не резал. Потерял, говорит. В конце концов его брат Рамазан поручился за него, и он вышел из тюрьмы. После этого я прочитал один ферман. Почему-то было приказано, чтобы некоторые корабли, груженные пшеницей, шли прямо в Стамбул, не заходя в порт Гебзе, в Тузлу или в Эскихисар. Некто по имени Ибрагим сказал: «Ес-

ли я не отправлюсь в Стамбул, то моя жена получит полный развод»²². В Стамбул он не поехал, и его жена, Фатъма, сказала, что совершенно свободна. Ибрагим возражает, что пока не ездил в Стамбул, но поедет, а в клятве своей никакого срока не указывал. Вслед за тем я попытался выяснить размер некоторых сданных в аренду вакуфных²³ земель, глядя на количество акче²⁴ в записях, но точного результата получить не смог. Одновременно я записал к себе в тетрадь, каков будет совокупный годовой доход от мельницы, огорода, сада и оливковой рощи. Когда я переписывал все это к себе в тетрадь, мне показалось, что я вижу эти земли, но, наверное, я обманывался. Потом я еще прочитал о нескольких кражах и, решив, что ничего не могу увидеть, вышел из архива.

Пока я курил в коридоре, я думал, что, вместо того чтобы искать упоминания о чуме, которые я нашел здесь в бумагах в прошлом году, я могу поискать и какой-нибудь другой рассказ. Я спросил себя, что это за рассказ должен быть. Но это показалось мне скучным и захотелось подумать о чем-нибудь другом, ведь история и рассказ – не одно и то же.

²² Согласно шариатскому праву, существует несколько разновидностей развода. После полного развода (когда слово «талак», букв. «развод», произнесено мужем три раза) супруги не имеют права восстанавливать брак, пока бывшая жена не побывает замужем за другим человеком.

²³ *Вакуф* – имущество либо деньги, пожертвованные на благотворительность, впоследствии благотворительный фонд.

²⁴ *Акче* – старинная мелкая монета.

Должно же существовать что-то, помимо сносок, что отличало бы хорошую книгу по истории от хороших рассказов или от романа? Что же это?

Из окна в конце коридора виднеется стена дома, стоящего позади здания районной администрации. Перед этой интригующей стеной – а что же там, за ней? – остановился грузовик, я вижу его задние колеса. Я докурил сигарету и, потушив ее о песок в красном противопожарном ведре, вошел в архивную комнату.

Я прочитал историю одного человека, по имени Этхем, который жаловался на Касыма: пока Этхема не было дома, Касым пришел к нему домой и разговаривал с его женой. Касым не опровергает случившееся, но только говорит, что приходил в дом, чтобы поесть оладьев, и, взяв немного масла, ушел. Другая пара истцов судилась потому, что один оттащал другого за бороду. Потом я записал названия деревень под Гебзе, которые вручили Ахмету и Джаферу за их подвиги на войне. Затем я прочитал жалобы жителей одного квартала на то, что две женщины, по имени Кезбан и Кевсер, занимаются распутными заработками. Жалобщики также просили, чтобы этих женщин выселили из квартала. Тут же я увидел и записал свидетельство некоего Али, что Кевсер занималась этим и раньше. Некто по имени Сатылмыш должен получить у Календера двадцать два золотых, но Календер отрицает, что должен деньги. Одна девушка, по имени Мелек, утверждала, что, будучи свободной, бы-

ла незаконно продана Бахаттину-бею человеком по имени Рамазан.

Вслед за этим я записал вот о чем: один юноша, по имени Мухаррем, ушел из дома, чтобы изучать Коран, а его отец Синан застал его с Ресулем. Отец говорит, что Ресуль сбил его сына с правильного пути и просит провести расследование. А Ресуль отвечает, что Мухаррем сам пришел к нему, они вместе пошли на мельницу, а на обратном пути Мухаррем скрылся во фруктовой роще, собирая инжир. Переписав и эту историю вместе с датой к себе в тетрадь, я задумался о том, каким был инжир, который так нравился мальчику, и каким был Ресуль, которому так нравился мальчик, любивший инжир около четырехсот лет назад. Потом я прочитал и записал приказы о поимке одного воина-сипахи²⁵, ставшего разбойником, о немедленном закрытии всех мейхане²⁶ и о том, чтобы немедленно проучили всех, кто пьет вино. Еще я прочитал и записал: о кражах, о недобросовестной торговле, о грабителях, о тех, кто женится и разводится... Чем могли мне помочь все эти истории? На этот раз я даже не пошел курить в коридор. Пытаясь забыть, что все эти рассказы нужны мне только для одного, я переписал к себе в тетрадь целую кучу цифр и слов, касавшихся цен на мясо. Тем временем мне на глаза попала запись одного судеб-

²⁵ *Сипахи* – воины султанского кавалерийского корпуса, получавшие земельные пожалования за несение военной службы.

²⁶ *Мейхане* – трактир, питейный дом.

ного допроса по поводу трупа, найденного в каменоломнях. Рабочие, которых пытали во время допроса, по очереди рассказывали, как они провели тот день. И только тут мне показалось, что я словно бы вижу тот день, 23-е число месяца реджеба 1028 года²⁷, и обрадовался. Я несколько раз внимательно перечитал то, что говорили рабочие, в подробностях сообщавшие о том, что они делали весь день. Мне захотелось соединить это удовольствие с удовольствием от сигареты, но я сдержался и точно переписал к себе в тетрадь все, что прочитал. На это у меня ушло много времени, но, когда я закончил писать, я был вне себя от радости. Солнце опустилось и осторожно светило в угол подвального окна. Я, кажется, был бы готов смириться с тем, чтобы провести в этом прохладном подвале всю жизнь, если бы кто-нибудь оставлял для меня перед дверью три раза в день еду и пачку сигарет, а по вечерам немного раки. Сегодня я не смог отчетливо разглядеть этот образ, но, по крайней мере, вроде бы слегка почувствовал его существование: за этими листочками бумаги было столько историй, что хватило бы на целую жизнь, и этим историям предстояло показать мне сушу за завесой тумана. Подумав об этом, я еще больше поверил в себя и в свою работу. Потом, как хороший и прилежный ученик, я сосчитал, сколько страниц написал у себя в тетради. Ровно

²⁷ Дата указана по Хиджре, началу мусульманского летоисчисления, когда, по преданию, Мухаммед переселился из Мекки в Медину. Данное летоисчисление было принято в Турции вплоть до 1927 года. Месяц реджеб – седьмой месяц мусульманского лунного календаря.

девять! Я решил, что заслужил вернуться домой и выпить,
и встал.

Мы сидели на маленькой пристани перед домом Джейлян, я собирался прыгнуть в воду, но, черт, все никак не мог перестать слушать то, что они говорили.

– Что будем делать вечером? – спросила Гюльнур.

– Давайте придумаем что-нибудь новенькое! – сказала Фафа.

– А! Ну тогда поехали в Суадие!

– И что там такое? – спросил Тургай.

– Музыка! – воскликнула Гюльнур.

– Музыка есть и здесь.

– Хорошо, тогда сама скажи, что будем делать.

Тут я нырнул и, быстро отплывая от берега, подумал, что в следующем году в это время я уже буду в Америке, вспомнил своих бедных родителей, покоившихся на кладбище, представил вольные улицы Нью-Йорка, чернокожих, которые будут играть на перекрестках для меня джаз, длинные бесконечные подземные переходы в метро, где никому ни до кого нет дела, его неиссякаемые подземные лабиринты и, вообразив все это, повеселел, но потом вспомнил, что, если я останусь без денег из-за старшего брата и сестры, не смогу поехать в Америку в следующем году, и уже начал злиться из-за этого, как вдруг сказал себе – нет, сейчас я думаю о тебе, Джейлян, о том, как ты сидишь на пристани,

как вытянула ноги, о том, что я тебя люблю и заставлю и тебя полюбить меня.

Через некоторое время я вынырнул и огляделся. Я уплыл очень далеко от берега, и мне почему-то стало страшно: они были там, на берегу, а я был в соленой, полной водорослей, пугающей воде без конца и края. Внезапно я забеспокоился и быстро поплыл к берегу, словно за мной гналась акула, вышел из воды, подошел к Джейлян, сел рядом и от нечего делать произнес:

– Море такое хорошее.

– Но ты же сразу вышел, – сказала Джейлян.

Отвернувшись, я стал слушать, что рассказывал Фикрет. Он рассказывает о трудностях, которые иногда случаются в жизни людей с сильным характером: этой зимой у его отца внезапно случился сердечный приступ, и ему тут же пришлось в одиночку управлять всем бизнесом, да-да, в его-то восемнадцать лет, и он сам вел все дела и контролировал сотрудников, пока из Германии не приехал старший брат. Затем он сказал, что скоро он станет еще более важным человеком, потому что его отец может умереть в любой момент, и тут я заметил, что наш – давно умер и что сегодня утром мы ездили на кладбище.

– Перестаньте, ребята! Мне из-за вас стало грустно, – сказала Джейлян, встала и ушла к другим.

– Давайте придумаем что-нибудь?

– Давайте. Пошли куда-нибудь.

Фафа подняла голову от своего журнала:

– Вы куда?

– Куда-нибудь, где весело! – сказала Гюльнур.

– К крепости! – сказала Зейнеб.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.